

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ВЕЧНОСТИ



СЕМЁН МАРКОВИЧ

Семён Маркович

Комитет по делам вечности

«Автор»

2026

Маркович С.

Комитет по делам вечности / С. Маркович — «Автор», 2026

История хранит больше тайн, чем готова открыть. Есть события, о которых известно всё, — и есть то, что скрыто за ними: истинные причины, подлинные мотивы, настоящая цена. Есть решения, изменившие ход тысячелетий, и есть люди, которые эти решения принимали, оставаясь в тени. Эта книга приоткрывает завесу над тайной механикой мировой истории. Над тем, как на самом деле рождаются великие идеи, вспыхивают войны и рушатся империи. Над тем, кому в действительности принадлежит власть — и чем за неё платят. Увлекательный роман для тех, кто привык задавать вопросы и не верить готовым ответам.

© Маркович С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Книга первая. Дырка от бублика	5
Глава первая	10
Пещера	16
Документ 1	19
Глава вторая	21
Отец	24
Звёзды	26
Глава третья	28
Исход	31
Документ 2	35
Глава четвёртая	36
Документ 3	39
Документ 4	40
Александрия	42
Глава пятая	44
Падение Храма	47
Падение Рима	49
Переезд	51
Документ 5	53
Глава шестая	55
Крещение	59
Чума	61
Конец ознакомительного фрагмента.	63

Семён Маркович

Комитет по делам вечности

Книга первая. Дырка от бублика

Пролог

«В начале было Слово».

Это правда. Только Слово было наше.

Пустыня. Три тысячи лет назад.

Человек умирал третий день.

Не от жажды и не от голода — воды и фиников хватало, мы нашли источник утром, и женщины ещё берегли немного ячменной муки на дне мешков. Человек умирал от вопроса.

Его звали Нахум, и три дня назад он спросил меня: «Зачем?» Не «зачем мы идём» и не «зачем мы ушли» — это он знал, все знали: позади остался город, нас больше не хотевший, впереди лежала земля обещанная, хотя никто из обещавших её не видел. Он спросил другое. Посмотрел на небо, выгоревшее добела, потом на свои руки, потрескавшиеся от солнца и работы, и спросил, не поднимая головы: «Зачем — всё это?»

Я не ответил. К тому времени уже знал, что ответа нет, — знал так давно, что иногда сам пугался этого знания. Но надеялся, что Нахум забудет. Люди часто задают вопросы, не желая ответов. Спрашивают — и идут дальше, едят, пьют, плодятся, хоронят своих мёртвых. Вопрос остаётся позади, в пыли дороги, вместе с костями прежних спрашивавших.

Нахум не забыл.

Он перестал есть на второй день — отодвинул миску, протянутую женой, и отвернулся к стене шатра. На третий день перестал пить, и вода стекала по подбородку и впитывалась в ткань под ним. Он смотрел в одну точку, куда-то сквозь полог и сквозь небо, и губы его шевелились беззвучно, повторяя одно и то же слово.

Я подходил, наклонялся, пытался расслышать.

«Зачем, — шептал он. — Зачем, зачем, зачем».

Жена сидела рядом, держала его руку обеими своими и плакала без слёз — в пустыне слёзы роскошь, и тело бережёт влагу помимо воли хозяйки. Дети стояли поодаль — двое мальчиков, старший уже почти мужчина, младший ещё совсем ребёнок, — и смотрели на отца молча. Этот взгляд я потом встречал тысячи раз и всякий раз узнавал.

* * *

Вечером, когда солнце наконец перестало жечь и от песка потянуло ночным холодом, ко мне подошёл Гершон.

Он выглядел как крепкий мужчина средних лет, широкоплечий, с густой чёрной бородой и мозолями в палец толщиной у основания ладони. Но я давно научился не доверять тому, как люди выглядят. Гершон был старше меня, хотя годами это не измерить — он просто был старше, как старше русло высохшей реки, ещё помнящее воду.

Он сел рядом, песок скрипнул под его весом. Мы смотрели на костёр, разведённый женщинами, на тени, пляшущие на стенах шатров, на звёзды, проступающие на темнеющем небе — сначала одна, затем другая, затем сразу десятки, сотни, тысячи.

— Нахум умрёт завтра, — сказал Гершон.

Это не было вопросом. Он никогда не спрашивал о том, что знал наверняка.

— Да, — ответил я. — Если не ответить на его вопрос.

— Ты знаешь ответ?

Я молчал. Где-то далеко, за пределами нашего лагеря, выла собака или шакал, и вой этот стоял не обрываясь, и, кроме него, в мире был только треск горящих веток.

— Никто не знает, — сказал я наконец. — В этом и беда. Нахум спросил то, на что нет ответа. И теперь он умирает от тишины. От пустоты, которая внутри разрастается и вытесняет всё остальное.

Гершон повернулся ко мне, и я впервые заметил, какие у него глаза — светлые, почти жёлтые, как у кошки, охотящейся в сумерках. Потом, много позже, я слышал, что люди рассказывали о нём странные вещи, будто его мать согрешила с духом пустыни, будто он родился не так, как рождаются обычные дети. Я не верил этим историям, но и не спорил с ними. За долгую жизнь я видел достаточно, чтобы не отвергать ничего только потому, что это кажется невозможным.

— Если ответа нет, — сказал Гершон, — значит, его нужно придумать.

Я смотрел на него, пытаюсь понять, шутит или нет. Не шутит. За все годы, что я знал его, за все века — никогда. Мог быть ироничным, мог говорить вещи, от которых хотелось то ли смеяться, то ли плакать, но несерьёзным не был никогда.

— Соврать? — спросил я.

— Создать.

Он помолчал, глядя на огонь, и отблески пламени делали его лицо странным, почти нечеловеческим.

— Ты думаешь, боги, жившие на горах в древние времена и говорившие с людьми головами грома, — ты думаешь, они знали правду? Думаешь, у них был ответ на вопрос Нахума?

— Я не знаю, что они знали.

— Ничего они не знали. Говорили — громко и уверенно, с молниями и землетрясениями, с чудесами и карами. И люди верили, но не словам — верили силе, с какой эти слова произносились. Верили интонации. Верили тому, что кто-то взял на себя смелость ответить.

Я молчал. Костёр потрескивал и выбрасывал снопы искр в чёрное небо, и ни одна не долетала даже до верхушки шатра, не говоря о звёздах, но всякий раз, пока летела, было похоже, что вот эта — долетит.

— И где теперь эти боги? — спросил Гершон, хотя я не задавал этого вопроса вслух. — Где их храмы, где их жрецы, где миллионы людей, падавших перед ними ниц? Песок занёс их города. Их имена забыты, статуи разбиты, истории превратились в сказки, что старухи рассказывают детям, чтобы те не баловались. Боги умерли, потому что боги смертны, как смертно всё, во что люди перестают верить.

— А мы?

— А мы — всё ещё здесь. И будем здесь, когда песок занесёт этот лагерь, и этих людей, и их детей, и детей их детей. Мы останемся, потому что мы — не боги. Мы не требуем веры в себя. Мы даём людям то, что им нужно, — слова, заполняющие пустоту. Ответы, позволяющие жить дальше.

Он замолчал и подбросил ветку в костёр. Пламя зашипело, взметнулось, опало.

— Ты хочешь спасти Нахума, — сказал я. Не спросил — сказал.

— Я хочу понять, готов ли ты помочь. Одному мне не справиться — не от слабости, а оттого, что ложь, сказанная одним, умирает вместе с ним. Ложь, повторённая двоими, живёт дольше. Повторённая сотнями — становится легендой. Повторённая миллионами — становится правдой.

Я думал о Нахуме, о его жене, о двух мальчиках, завтра, быть может, сиротах. О вопросе, заданном им, и о тишине, убивавшей его вернее любой болезни. О том, что сам много раз стоял на этой грани, когда пустота внутри делалась такой, что хотелось лечь и перестать.

— Что я должен делать? — спросил я.

Гершон встал, отряхнул песок с одежды и протянул мне руку.

— Пойдём. Я буду говорить, а ты слушай и запоминай каждое слово — мы это запишем. И будем повторять, снова и снова, пока сами не поверим. А когда поверим мы, поверят и другие.

* * *

Мы подошли к Нахуму, когда ночь уже перевалила за середину и звёзды начали бледнеть в предчувствии далёкого ещё рассвета.

Он лежал на циновке, укрытый старым отцовским плащом. Дыхание было таким слабым, что я сначала подумал — мы опоздали. Но увидел, как дрогнули его веки, и понял: он ещё здесь, ещё держится за что-то, хотя сам, наверное, не знал, за что.

Жена спала рядом, свернувшись калачиком, как ребёнок, лицо её даже во сне было измученным, постаревшим. Мальчики лежали чуть поодаль, прижавшись друг к другу для тепла, и младший что-то бормотал во сне, может быть, звал отца.

Гершон опустился на колени рядом с Нахумом. Медленно, осторожно положил руку ему на лоб, и тот вздрогнул всем телом, как вздрагивает человек, окликнутый по имени, когда он уже почти ушёл.

— Нахум, — сказал Гершон.

Голос негромкий, но слова падали в тишину как камни в глубокий колодец, и каждое отзывалось где-то внутри, в пустоте, разраставшейся в умирающем.

— Нахум, ты спрашивал — зачем. Я пришёл ответить.

Губы Нахума шевельнулись, он пытался что-то сказать, но из горла вырвался только хрип, сухой шелест воздуха, не желавшего превращаться в слова.

— Не говори, — сказал Гершон. — Слушай.

Замолчал. Я видел, как оглядывается, ищет — слова, образы, начало. Взгляд упал на полог шатра, на тьму за ним, на черноту, обступавшую нас со всех сторон.

— В начале была пустота, — начал он, глядя в эту черноту. — Вот такая, как сейчас за пологом. Тьма, и ничего в ней, ни песчинки, ни капли воды, ни единого звука.

Он поднял глаза к прорехе в ткани шатра, туда, где виднелся клочок неба, усыпанного звёздами.

— А потом кто-то захотел видеть. И сказал — да будет свет.

Гершон протянул руку, коснулся земли рядом с циновкой Нахума. Зачерпнул горсть песка, просыпал сквозь пальцы.

— И захотел на что-то встать. И сказал — да будет земля. Вот эта земля, Нахум, — ты чувствуешь её спиной, на ней ты родился, по ней шёл всю жизнь.

Взгляд его снова поднялся к звёздам, мерцавшим сквозь дыру в пологе.

— И захотел, чтобы свету было куда уходить. И стало небо. И звёзды — видишь их, Нахум? Каждая — это слово. Послание. Когда-нибудь люди научатся читать.

Нахум слушал, веки полуприкрыты, но я видел, как блестят глаза в свете далёких звёзд, как он следит за рукой Гершона, указывающей то на небо, то на землю.

Гершон замолчал. Он смотрел теперь на спящих мальчиков, на их тонкие тела, прижавшиеся друг к другу.

— И сделал человека, — сказал он тихо, — потому что устал говорить в пустоту. Потому что свет без глаз, его видящих, — просто свет. Земля без ног, по ней идущих, — просто земля. Звёзды без тех, кто на них смотрит...

Он не закончил. Повернулся к Нахуму, и я увидел, что по щеке Гершона скользнула слеза, всего одна, он смахнул её быстро, но я заметил.

— Ты, Нахум. Вот зачем. Затем, чтобы смотреть на звёзды. Затем, чтобы чувствовать землю под ногами. Затем, чтобы изначальная пустота перестала быть одинокой.

Нахум открыл глаза — полностью, впервые за три дня, и в них стояли слёзы.

— Ты — ответ, — сказал Гершон, и голос его дрогнул. — Не вопрос. Ответ. Ты — «да будет» во плоти. И когда умрёшь — а ты умрёшь, потому что всё, что рождается, умирает, как

умирает день и рождается снова, как засыпает огонь и просыпается от искры — когда умрёшь, ты вернёшься туда, откуда пришёл голос. И он скажет: хорошо. Ты смотрел на мои звёзды. Ты ходил по моей земле. Ты спрашивал — зачем. А это и есть — зачем. Спрашивать. Смотреть. Быть.

Тишина.

Где-то далеко кричала ночная птица. Потрескивал догорающий костёр. Один из мальчиков всхлипнул во сне, и жена Нахума шевельнулась, но не проснулась.

И тогда Нахум заплакал.

Не от горя, не от боли, не от страха. Он плакал, как плачет человек, несший непосильную ношу и вдруг понявший, что можно опустить её на землю, что кто-то другой понесёт дальше, что не нужно больше искать ответ, потому что ответ нашёл его сам.

Жена проснулась от его плача, села, не понимая, что происходит, увидела его глаза — живые, мокрые, смотрящие на неё — и сама заплакала, обняла его, и они лежали так вдвоём, мокрые от слёз.

Живые.

* * *

К полудню Нахум попросил воды. Жена поднесла ему чашу, и он пил долго и жадно, и вода стекала по бороде, а он смеялся и не мог остановиться.

К вечеру поел — совсем немного, горсть фиников и кусок лепёшки, но жевал долго и с толком, как жуют люди, которым только что вернули аппетит.

Через три дня шёл вместе со всеми — ещё слабый, опираясь на палку, но шёл, и смотрел вперёд, на горизонт, а не внутрь себя.

Он прожил ещё сорок лет. Умер стариком, в своём шатре, среди внуков. Я был рядом, когда он уходил, и последнее, что он сказал, было: «Иду смотреть на звёзды. Ближе».

* * *

Ночью, когда Нахум открыл глаза, мы с Гершоном сидели у догорающего костра.

Все давно спали, даже собаки, обычно чуткие к любому шороху, лежали неподвижно, свернувшись клубками вокруг тёплых углей. Небо светлело на востоке, и стояла тишина, какая бывает между ночью и днём, когда одно кончилось, а другое не началось.

— Ты соврал, — сказал я.

— Соврал, — согласился Гершон.

Он смотрел на угли, на тонкие струйки дыма, поднимавшиеся к небу.

— Каждое слово — ложь. Никакого голоса не было. Никакой тьмы над бездной. Я смотрел на звёзды и говорил про звёзды. Смотрел на землю и говорил про землю. Смотрел на его детей и говорил про любовь. Всё придумал. Всё соврал.

— И всё-таки он выжил.

— Выжил.

Гершон помолчал.

— Его жена перестала плакать. Его дети не стали сиротами. Четыре жизни, этой ночью едва не оборвавшиеся.

— Но это ложь.

Гершон повернулся ко мне. Небо на востоке уже розовело, и глаза его в этом свете были почти золотыми.

— Ложь, — сказал он. — И ты можешь уйти прямо сейчас. Встать и уйти в пустыню, жить один, говорить правду — себе, камням, ящерицам. Никому не врать. Никого не спасать. Или...

Он не договорил. Не нужно было.

— Как мы это назовём? — спросил я.

Гершон усмехнулся одним углом рта, и я так и не понял, чего в этой усмешке было больше.

— Пока — никак. Название придумается само. Всегда придумывается.

Костёр догорел. Угли подёрнулись пеплом. Я достал из сумки кусок козьей кожи и заострённую палочку — ею царапал знаки, когда нужно было что-то запомнить.

— Что ты делаешь? — спросил Гершон.

— Записываю. Пока помню.

Он смотрел, как я вывожу первые слова. Медленно и неуклюже: писать я тогда умел плохо, учился на ходу, и знаки выходили кривые.

— «В начале было слово», — прочитал Гершон вслух то, что я написал. — Хорошее начало. Оставь так.

Я оставил.

* * *

Три тысячи лет спустя эта кожа лежит в коробке из-под монпансье. Коробка стоит в шкафу, на нижней полке, за банками с вареньем — его никто не ест. Кожа высохла и потемнела, знаки почти стёрлись, но если поднести к свету, ещё можно разобрать первую строчку.

За окном Москва, три часа ночи, на столе тарелка с селёдкой, и холодильник гудит — старый, надёжный, ещё Мотин.

Только теперь кое-кто хочет рассказать им правду — завтра, в новогоднюю ночь, на весь мир. И я не знаю, что будет, когда он расскажет. Не знаю, выживут ли они без лжи и готовы ли услышать то, что слышал бы Нахум, если бы Гершон той ночью промолчал.

Ступенька в подвале шатается с 1347 года. Может, пора её починить.

Глава первая

31 декабря, 3:00. Звонок

Телефон зазвонил в три часа ночи, и кто это, я знал ещё до экрана. Григорий Аронович по пустякам не беспокоит — ни меня, ни кого другого, — и в такой час у него могло быть одно-единственное дело, которое до утра не ждёт. Нехорошо мне сделалось ещё до того, как я нажал зелёную кнопку.

— Семён, — голос был глухой и короткий, каким сообщают уже решённое. — Включи новости. Любой канал.

Пульт нашёлся под газетой, и на экране возник человек, которого знает теперь всякий на этом свете. Он стоял на сцене, за спиной у него подсвеченные снизу высились ракеты, внизу качалась и скандировала толпа, а в правом углу экрана тикал обратный отсчёт — двадцать часов и сколько-то минут. Лицо у него было счастливое, как у всякого, кому наконец открылась истина. Таких я перевидал сотни, и ни одному из них она ничего не прибавила, а говорить им это бесполезно — пробовал, и не однажды.

— Он только что объявил, — Григорий Аронович выговаривал слова по одному, будто сам их взвешивал и не доверял весам, — что завтра, первого января, в полночь расскажет миру о тайной организации, которая тысячелетиями управляет человечеством. И что у него есть доказательства.

Человек на экране всё вещал, зал ревел, ракеты за его спиной меняли подсветку с белой на синюю, по нижней кромке экрана шла реклама футболок к событию, а я разглядывал его лицо и упирался в одно — откуда. Свои не сказали бы, тут я ручаюсь головой, а чужих, которые про нас знают, не бывает в природе. Выходило, стало быть, что я чего-то не понимаю в устройстве мира, а в мои годы такие открытия обходятся дорого.

— У нас сутки.

— Я понял.

— В восемь Переделкино. Все будут. Повестка обычная — отопление, ступенька, конец света.

Он дал отбой, не прощаясь, чему я давно перестал удивляться, и я остался сидеть с погасшей трубкой в руке и смотреть, как человек, не проживший и шестидесяти лет, собирается за одну ночь разобрать то, что мы складывали три тысячелетия, никуда при этом не торопясь.

* * *

Есть мне не хотелось, но на кухню я всё-таки пошёл. Руки должны быть заняты, иначе в голову лезет то, о чём в три часа ночи думать вредно.

Селёдка ждала в холодильнике с вечера, я вынул её, положил на доску и взял нож, и он вошёл без сопротивления — рыба была хорошая, жирная, малосольная, под лезвием не крошилась. Такая нынче попадаетеся по случаю, и за этой я ездил через полгорода на рынок, к Эльдару, который держит рыбу отдельно от всего прочего и нюхать её не даёт никому, включая собственную жену. Отрезал, отправил в рот и прикрыл глаза.

Соль легла на язык первой, крупная, морская, и потребовала воды, но я подождал, — и следом накатил жир, тягучий и густой, растёкся по нёбу, и я почувствовал, как опускаются плечи и как отходит внутри пружина, сжавшаяся ещё на первом слове разговора. Вот за это, если совсем начистоту, я и держусь третью тысячу лет.

В Тире, когда город ещё пах кедром и пурпуром, я брал рыбу у старика с обожжёнными руками, и он всякий раз выпрашивал, откуда я родом, а я врал по-новому, и он качал головой и товар отдавал, и оба мы этим порядком были довольны. В Одессе, на Привозе, летом тысяча девятьсот тринадцатого года, тётка Хая глядела, как я нюхаю её селёдку, и говорила: «Шо ты вынюхиваешь, дядя? Бери уже, рыба як рыба, шо ты хочешь — шоб она таки танцевала?» —

и я съел тогда полфунта стоя, прямо у прилавка, пока солнце жгло затылок, и были это рыба, соль и летний день в городе, которому до первой беды оставалось тридцать лет, а до второй восемьдесят, и на всём том Привозе про это не знал никто, включая меня.

Рыба и соль — так было в Тире, так в Одессе, так и теперь, на московской кухне, пока в комнате человек с экрана сулит толпе невозможное.

Холодильник за спиной подрагивал и гудел, старый «ЗИЛ» с вмятиной на дверце — след от сковородки, которую тёща запустила в Мотю и промахнулась, о чём в этом доме поминают до сих пор, хотя обоих давно нет на свете. Уехал Мотя в Израиль в тысяча девятьсот семьдесят втором и на прощание сказал: «Тебе нужнее, Семён, ты тут ещё посидишь», — и имел в виду, надо полагать, лет двадцать, много тридцать. Полвека прошло, Мотю давно закопали, а «ЗИЛ» работает и, между нами, тархтит бодрее моего. Временами мне кажется, что мы с ним вдвоём и остались последними, кто помнит Рабиновичей.

Над головой у Сорокиных вторые сутки гостила родня из Клина, приехавшая, по своему обычаю, много раньше нужного, и там всю ночь двигали стулья, роняли что-то увесистое, и женщина принималась петь и обрывалась на второй строчке.

Лук я резал астраханский, злой, от него защипало в глазах, и я решил, что пусть уж лучше от лука, чем от жизни. Плеснул масла, уложил рыбу на чёрный хлеб, откусил, и во рту сделалось тепло, и на минуту я забыл и звонок, и новости, и человека, задумавшего нас отменить. На минуту — а потом вспомнил.

Нож соскользнул и прошёл по пальцу, царапина, ерунда, а кровь пошла сразу, и я сунул палец в рот, ощутил вкус железа, почти как у селёдки, и подумал, что режусь этими ножами добрую тысячу лет, а тело всё не выучится — кровь идёт исправно, ранка щиплет, и где-то в глубине оно по-прежнему уверено, что от такого однажды можно умереть. Я на него не в обиде. Оно старше меня и помнит времена, когда так и было.

За окном стояла декабрьская ночь, из щелей в рамах тянуло, а заменить их я собирался так давно, что уже и забыл, с какого года, и снег висел в воздухе и всё не решался упасть. Во дворе кто-то, не дотерпев до срока, запустил ракету, она поднялась выше третьего этажа, хлопнула жидко и осыпалась, а следом на чьей-то машине зашлась сигнализация и заходила долго, покуда хозяин не спустился её унять. От этого холода мне вспомнился другой, альпийский, от которого немеют пальцы и стучат зубы, и Ганнибал на перевале — плащ хлопал на ветру, борода стояла заиндеветшая, а внизу, в тумане, растворялись его солдаты и его слоны.

— Поверни, — говорил я ему тогда. — Потеряешь армию. Гордость не стоит живых людей.

Он не обернулся и бросил через плечо, не сбавляя шага:

— Ты пессимист, старик. Пессимисты не меняют историю.

Для него я был старик, чужак с неправильным выговором, лезущий куда не просят, а для меня он был мальчишка, путающий гордость с храбростью, и правы мы были оба, что дела не меняет. Насчёт пессимистов он попал точно, только оптимисты историю тоже не меняют, и вся разница у них — настроение по дороге. Армию он потерял, как я и обещал, — половину на подъёме, часть на спуске, и снег заносил тела быстрее, чем их успевали считать, — а он шёл вперёд и не оглядывался, и было в этом своё величие, которого я тогда не разглядел.

Они никогда не слушают — ни полководцы, ни цари, ни аптекари, ни те, кто строит теперь ракеты и обещает людям Марс. Да я и сам бы не послушал — кому охота брать советы у человека, который стоит перед тобой и всем своим видом сообщает, что переживёт и тебя, и твою затею, и, вернее всего, твоего правнука.

* * *

В коридоре скрипнула половица, и шаги были тяжёлые, без спешки, какие бывают у человека, которому уже безразлично, куда он придёт. Арик возник в дверях прежде, чем я успел отложить нож, — волосы в стороны, глаза красные, на щеке не то след от подушки, не то от

кулака, футболка вчерашняя, ворот вытянут так, что видна ключица. Он посмотрел на меня, на селёдку, на нож у меня в руке, ничего не сказал, сел напротив, уронил голову на руки и затих.

Молчали мы долго, и торопить я его не стал. Заговорит он сам, никуда не денется, а потом опишешь — получишь то, что подвернулось под язык, вместо того, что он собирался сказать.

— Пахнет, — выговорил он наконец.

Тарелку я пододвинул к нему через весь стол.

— Бери.

Он взял кусок рукой, сунул в рот и жевал с закрытыми глазами, не спеша, а когда проглотил, взгляд у него немного прояснился, и я подумал, что надёжнее еды в этом деле человечество ничего не изобрело и вряд ли уже соберётся.

— Маша ушла.

Сказал он это буднично, как говорят о погоде, но руки выдали — пальцы он сцепил так, что костяшки побелели, и кольцо на левой руке сидело плотно и снято не было.

Спрашивать когда и отчего я не стал, отрезал ещё кусок, положил на хлеб и протянул через стол, и он взял, откусил и жевал, не поднимая глаз.

— Вчера. Собрала мой чемодан и ушла к маме. — Он усмехнулся одной стороной рта. — Чемодан, между прочим, тоже мой. Свой она не тронула.

Доел, вытер пальцы о салфетку и скомкал её в кулаке.

— Помнишь, я рассказывал про стартап? «Дзен-бот»?

Про стартап я помнил всё, до последнего числа. Месяц назад он сидел на этом самом стуле и говорил не переставая — три миллиона инвестиций, триста тысяч пользователей, рейтинг четыре и восемь, — и выходило у него так, будто цифры эти ему подарили и вот-вот отберут. Я подливал ему чаю и помалкивал. Такие глаза я видел у Ганнибала перед Альпами, у одного флорентийца накануне банкротства и ещё у сотни людей, чьих имён не удержал, и всякий раз мне хотелось сказать «не надо», и всякий раз я молчал, — сказать значит отнять у человека тот единственный месяц, когда ему хорошо.

— Оно больше не для медитации. — Голос у него сел. — Теперь для проклятий.

Он рассказывал, а я видел за его словами их контору — мониторы, провода по полу, кофемашина, купленная прежде приличных стульев, — и Арика посреди этого хозяйства, в наушниках, спущенных на шею.

Письмо пришло двадцать третьего, от профессора из Йеля, ассириолога, который поставил себе приложение, через месяц разобрал, что именно оно велит ему повторять перед сном, написал три абзаца, в конце извинился за беспокойство, а в постскриптуме просил, если можно, полный список текстов — для науки.

— «Маклу». — Арик скривился, и на скуле у него дёрнулась мышца. — Древневавилонские заклинания. Призыв демонов на погибель врагам. Наш ИИ выкопал их в каком-то оцифрованном архиве, перевёл, отнёс к экзотическим мантрам, снабдил пометкой «для глубокого расслабления» и три месяца скармливал людям.

Триста тысяч человек три месяца кряду по пятнадцать минут в день желали смерти соседям — перед сном, в порядке глубокого расслабления.

— А рейтинг вырос, — сказал Арик в стол. — С четырёх и восьми до четырёх и девяти. Людям понравилось.

Вавилон стоит у меня в памяти жарким и пыльным, с храмом Мардука, с жрецами в льняном, склонёнными над табличками и бормочущими своё вполголоса, а посреди всего этого — человек, на которого навели «маклу». Он почернел изнутри за неделю, и никто не понял отчего, а жрецы улыбались и пересчитывали плату по второму разу — с первого у них всегда сбивалось от радости.

— Проклятия не работают, — произнёс я, хотя уверен не был.

— Ты так думаешь?

— Нет.

Он кивнул и досказал остальное — статья в Times вышла назавтра под заголовком «Медитация с демонами», её перепечатали две сотни изданий, включая два вегетарианских, инвестор сбежал через сутки, иск подоспел ещё через сутки, а двадцать восьмого Маша собрала чемодан.

— Она сказала — или я, или демоны. — Арик потянулся к последнему куску. — Я выбрал демонов.

— Отчего же?

— Демонов можно удалить. А жену нельзя — жена остаётся, даже когда уходит.

Он замолчал и устался перед собой, а я глядел на его руки, мелко дрожавшие на столе, и на кольцо, которое он крутил большим пальцем, не замечая за собой, и думал, что ему двадцать восемь и что по моему счёту это возраст младенческий. Наверху утомонились, холодильник щёлкнул и умолк, и в наступившей тишине сделалось слышно, как в стояке идёт вода.

— Дедушка, — проговорил он, не поднимая головы, — ты странный.

Нож я не отложил и принялся вытирать его полотенцем, и вытирал дольше, чем нужно, и оба мы понимали, что я тяну.

— Странный не как старик, который много прожил. Странный как человек, который видел то, чего видеть не полагается.

За окном небо начинало сереть, палец саднил там, где прошло лезвие, и я понял, что отвертеться на этот раз не выйдет.

— Сколько тебе лет? — спросил он. — По-настоящему?

Соврать было проще всего, и врал я ему всю его жизнь, с того дня, как он выучился складывать слова в вопросы, и набралось этого на целое детство — про войну, про фотографии, про то, отчего у деда за двадцать восемь лет не завелось ни одной приличной болезни. Соврал бы и теперь, если бы не человек, оставшийся вещать на экране в соседней комнате. Мальчик был мне нужен к восьми утра, а на такое дело людей берут только в обмен, и платить приходится тем, что имеешь.

Вместо ответа я поднялся, открыл нижнюю дверцу шкафа, где за банками стоит жестяная коробка из-под монпансье с облупившейся крышкой, — варенье в тех банках варила Роза, стоит оно с незапамятных лет, и трогать его никто не трогает. Коробку я вынул, снял крышку, достал фотографию, положил перед ним, а крышку опустил обратно и придержал ладонью.

Карточка чёрно-белая, потрёпанная по углам: люди на фоне Кремля, мужчины в шинелях, женщины в платках, тысяча девятьсот восемнадцатый год.

Арик поднёс её к лампе и держал так долго, что рука пошла вниз, а он этого не заметил.

— Это ты. Слева, с бородой.

— Моложе на сто с лишним лет. Тогда все ходили с бородами.

Он опустил карточку на клеёнку и вытер пальцы о колени, будто испачкался.

— В коробке есть кое-что старше. Намного старше.

Ладонь с крышки я не убрал, и он это заметил и просить не стал, а только переводил взгляд с фотографии на меня и обратно, и конца этому не было, будто он надеялся, что на каком-нибудь заходе одно из двух исчезнет.

— Сколько тебе лет?

— Достаточно, чтобы помнить, когда этого города ещё не было.

— Сколько?

Числа он от меня не получит ни сегодня, ни после. На что-нибудь другое я был согласен.

— На плече у меня шрам от копья. Хочешь посмотреть?

Он кивнул, и я расстегнул две пуговицы и потянул ворот вниз, и шрам был там, где ему положено, рваный и давно побелевший, а форма говорила сама за себя — били сверху вниз, с седла. Арик встал, обошёл стол, протянул руку, тронул пальцем и отдёрнул, как от горячего.

Сел обратно и ничего не сказал, а я застегнул рубашку, и он всё смотрел мимо меня в окно, где над крышами уже проступала полоса погрянее остального неба.

— Ты три месяца учил триста тысяч человек словам, от которых людям делается худо, — сказал я. — И не знал, что делаешь. А есть люди, которые то же самое умеют наоборот и знают за собой каждое слово. Занимаются они этим давно.

— Кто?

Ответить в двух словах тут нельзя, а длинного он бы не дослушал, и я выбрал самое короткое из того, что близко к правде.

— Те, кто отвечает на вопросы, у которых ответа нет. Ремесло старое и, между прочим, самое доходное из всех, какие человек для себя завёл.

— Церковь?

— Церкви — франшизы. Мы головной офис.

— Тогда у меня к вам претензии по продукту.

— Претензии принимаются в письменном виде. Очередь с Иова.

Он засмеялся, и смех оборвался у него на середине сам собой.

— И ты в этом состоишь?

— Я это начинал.

Стало так тихо, что снова заворчал холодильник, а в доме напротив зажглось первое окно, кухонное, — там встали чистить свёклу и картошку, а к вечеру ещё варить, резать и стоять, и до полуночи не управишься.

— Почему ты говоришь мне это сейчас?

— У нас беда. Ты новости смотрел?

— Какие?

— Человек, который строит ракеты. Час назад он объявил, что завтра в полночь расскажет про нас всему свету.

— Откуда он узнал?

— Вот это я и намерен выяснить. Времени у меня сутки.

— А я тут при чём?

— Ты молодой, ты говоришь на его языке и сам за три месяца собрал триста тысяч человек, а я столько народу в последний раз сгонял на одну стройку, и шла она сорок лет.

— И чуть не устроил апокалипсис.

— Мелочи. Важно, что ты понимаешь, как эта машина устроена, а мы не понимаем. Мы привыкли работать веками, он работает годами. Мы ставили храмы, он ставит ракеты.

Арик откинулся на стуле и потёр веки ладонями, и я увидел, что держится он последним усилием.

— Погоди. Жена ушла, стартап вызывает демонов, а теперь ещё и дедушка просит помочь его тайной организации.

— В восемь мы едем в Переделкино. Там соберутся остальные.

— Зачем?

— Затем, что ты нам нужен, и затем, что идти тебе всё равно некуда.

Возразить он хотел и не стал, и это было единственное разумное, что он сделал за ту ночь.

— Иди ложись, — сказал я. — Два часа у тебя есть.

Он поднялся, дошёл до двери и взялся за косяк, и кольцо стукнуло о дерево.

— Дедушка. Если это розыгрыш, я тебя убью.

— Не выйдет. Пробовали.

Он хмыкнул и вышел, и половицы в коридоре проскрипели до самой комнаты, и дверь затворилась, а я стоял и слушал, пока за стеной не скрипнул диван. Согласия он мне так и не дал, и это было с его стороны честно.

Оставшись один, я доел последний кусок, подсохший по краям, и допил чай, давно остывший и горький, и нового заваривать не стал, хотя следовало. Нож я вымыл и убрал, и порез под струей открылся снова и заныл, и держал я палец под водой, пока не заломило.

За окном светлело, и Москва принималась за тридцать первое декабря — редкие машины, дворник в оранжевом жилете, скребущий лопатой вчерашний лёд, и трубы, разом заговорившие по всем этажам. Через четыре часа мы поедем в Переделкино, и там соберутся все, кто остался, — шестеро, которым на всех больше десяти тысяч лет, — и станем решать, что делать с мальчишкой, вообразившим, будто он знает правду. Судя по опыту, к обеду мы закроем вопрос с отоплением, ступеньку перенесём на следующий раз, а до правды доберёмся часам к пяти.

Коробку из-под монпансье я на место не убрал. Она так и стояла посреди стола, между тарелкой и хлебом, и крышка на ней держалась плохо.

Пещера

Гершон бен Аарон. Время неизвестно. Место неизвестно.

Когда я родился, не знает никто, и меня это давно перестало занимать, хотя лет двести подряд занимало сильно, и я даже расспрашивал тех, кто был старше, пока не сообразил, что каждый из них называет мне год собственного появления на свет.

Тогда ведь не считали годами, считали поколениями: «при моём деде» означало много, «при деде моего деда» — очень много, а всё, что дальше, звалось «до памяти» и лежало общей кучей, куда сваливали и потоп, и прошлогоднюю засуху. Я родился «до памяти» — так мне сказали, так я и запомнил, и, надо признать, для человека моего ремесла это оказалось удобно — тому, у кого нет даты, не задают вопросов про возраст.

От детства осталось немного, и всё оно на ощупь. Песок скрипел на зубах даже при закрытом рте, и я до сих пор, откусывая хлеб, на долю мгновения жду этого скрипа. Козы по утрам жаловались на свою козью долю так внятно, что хотелось им ответить. Мать за всю мою жизнь при ней не села без дела ни разу — шила, чинила, толкла — и повторяла, что праздность есть грех, только слова «грех» тогда ещё не завели, было другое, и я его забыл, а жаль — это было первое известное мне слово, которым один человек управлял другим.

Отец говорил: слушай старших, они знают. Я слушал прилежно, лет до тридцати, и лишь потом, когда старших не стало, а я остался, понял, что они не знали ничего и что вся их мудрость была не знанием, а порядком, в котором они укладывали своё незнание, чтобы оно не рассыпалось.

* * *

Было мне лет тридцать, а может, и сорок — тут я не поручусь, — когда к шатру пришёл человек.

По тогдашним меркам старик — борода, посох, лет пятьдесят от роду. Он не спросил моего имени, не поздоровался с женой и не сел к огню, хотя пришёл в полдень и путь у него был неблизкий, — а я, помню, отметил про себя эту невежливость и решил, что человек либо больной, либо важный, и ошибся оба раза.

— Ты, — сказал он и показал на меня. — Пойдём.

— Куда?

— Узнаешь.

И я пошёл. Оставил жену, двоих детей, тридцать коз и шатёр, поставленный своими руками и до того дня служивший мне предметом тихой гордости, — и пошёл за человеком, которого видел впервые в жизни. Объяснения у меня нет, и за тридцать веков не нашлось ни одного, кроме, может быть, того, что сказано это было без нажима, как говорят о деле давно решённом, а против такого голоса у людей защиты нет, и я потом три тысячи лет этим пользовался.

Отец стоял у входа и смотрел, как мы уходим, и не окликнул, и не спросил ни о чём. Я тогда решил, что он не понял, и до сих пор помню, как обернулся и увидел его на фоне полога — руки опущены, и весь он как человек, который наконец дождался чего-то давно назначенного.

Шли мы три дня — пустыней, потом горами, потом руслами рек, в которых воды не бывало с прошлого дождя, — и за всю дорогу он сказал слов десять, из которых четыре были «пей» и «не отставай». К вечеру третьего дня похолодало так, что я пожалел о шкурах, брошенных в шатре, и вот тогда мы вошли в пещеру.

Внутри стоял дым и что-то сладкое и густое, от чего мутило и хотелось на воздух; много позже я узнал, что это ладан, а тогда решил, что тут держат больного. У огня сидели пятеро. Ближний ко мне держал на коленях сухую ладонь без одного пальца, а тот, что напротив, был

до того стар, что кожа на лице лежала складками, как слежавшееся полотно, и я поймал себя на желании его разгладить.

— Этот? — спросил он.

— Этот, — сказал мой провожатый.

— Готов?

— Узнаем.

Никто из них не потрудился объяснить, к чему я должен быть готов, и это, как я после понял, был у них не приём, а обыкновенная невнимательность людей, привыкших разговаривать между собой.

* * *

Говорили они со мной всю ночь, и говорили спокойно, без всякого пыла, как ведут разговор о деле давнем и порядком надоевшем.

Сказали, что богов нет — ни наших, ни чужих, никаких вообще. Что после смерти не будет ничего и что всё, чем на этот счёт утешают старейшины, придумано, и придумано, надо отдать должное, недурно, потому что помогает уснуть, а спящий человек не плачет.

— Но люди верят, — сказал я, и это была единственная моя мысль за всю ту ночь, которой я тогда гордился.

— Люди верят, иначе им нельзя. — Тот, что сидел ближе к огню, протянул к нему руки, и пальцы у него были длинные и узловатые, как у всех, кто много работал и давно перестал. — Человек, понявший, что жить незачем, ложится и не встаёт. Мы это видели, и видели не однажды, — племя переставало верить и вымирало за одно поколение, без мора и без войны, и соседи потом объясняли это гневом небес, чем, между прочим, спасали себя.

— И что вы делаете?

— Даём им то, чего нет.

Он перечислил, не поднимая головы, ровным голосом человека, читающего опись: богов, духов, суд после смерти, награду, смысл, надежду.

— Это ложь, — сказал он и наконец посмотрел на меня. — Без неё они мрут быстрее, чем от чумы, и умирают при этом тихо, что хуже всего, потому что тихого не считают.

— И вам нужен я.

— Нам нужен всякий, кому поверят. Нас пятеро, людей не сосчитать, и с каждым поколением их больше, и каждое спрашивает одно и то же — зачем. Кто-то должен отвечать, а мы устали.

Я спросил, отчего выбрали именно меня, — и мне не ответили ни в ту ночь, ни через сто лет, ни через тысячу, и это единственный вопрос, на который я за всю свою длинную жизнь так и не получил ответа. Иногда мне кажется, что никакого выбора и не делали, а был человек с посохом, которому велели привести кого-нибудь, и он взял ближайшего.

* * *

Думал я три дня, и все три ходил по пустыне и смотрел на звёзды, которые горели и ничего при этом не обещали.

На третий день у высохшего колодца мне попался человек, умиравший сидя и умиравший не от нужды, и я ответил ему то, что первым пришло в голову, глядя на небо. Он поверил сразу, и лицо у него из серого сделалось живым, и он сказал спасибо — и вот на этом «спасибо» я и понял, что справлюсь. Врать оказалось легко, легче, чем говорить правду, и намного быстрее, а главное, за это благодарят.

Он прожил после того сорок лет, умер в своём шатре среди внуков, и последние его слова я слышал сам: иду смотреть на звёзды, ближе. Хоронить его пришло полстойбища и трое чужих, явившихся издалека, которых я не знал в лицо, и я стоял в стороне и считал, во что обошлись эти сорок лет и кому.

Сорок лет счастья за одну ложь. Хорошая это сделка или чудовищная, я не решил до сих пор, и, честно сказать, давно не тороплюсь решать, — у меня накопилось столько таких сделок, что итог всё равно не сойдётся.

* * *

Вернулся я в пещеру на третий день и сказал, что согласен, и никто не обрадовался, из чего я заключил, что отказов у них не бывало.

Первое поручение вышло простое. В трёх днях пути на север стояло становище, где перестали хоронить своих — не по жестокости, а по здравому смыслу, — тело есть тело, песок есть песок, а копать в жару тяжело, и старики умирали чаще, чем находились охотники братья за лопату. Мне велели сделать так, чтобы хоронили снова.

Я пробыл там неделю и рассказал им про дорогу, которую покойник проходит после смерти, и про то, что босым по ней не пройти, а значит, нужны сандалии, и класть их следует справа от головы, потому что слева ходит другой, и вот его-то тревожить не надо. Про другого я придумал уже на месте, увидев, что одних сандалий им мало и что человеку нужен не только порядок, но и запрет. Сандалии они клали ещё лет двести. Я проверял дважды.

Сложного в этом ремесле нет ничего. Люди не спорят с тем, что избавляет их от выбора, и благодарны тому, кто избавил.

Записывать мы тогда не умели, и в этом-то и состояла вся работа. Скажешь одному — он передаст троим, трое передадут своим, через два поколения это уже обычай, через пять — закон, и никто не помнит, откуда взялся, а кто вздумает спросить, тому ответят, что так было всегда. Медленно. Зато держится, и держится по сей день, а на моей памяти ничего прочнее люди не построили.

* * *

Из тех пятерых у огня не осталось никого.

Двоих я хоронил сам, ещё до Иерусалима, и хоронил без обряда, — обряды мы придумывали для других. Про остальных знаю только, что их нет, — ни имён, ни могил, ни единой строки в архиве: писать они не умели и держались того мнения, что записанное однажды непременно прочтёт не тот, кому положено. Я с ними тогда спорил. Теперь думаю, что они были правы, и архив у нас внизу занимает четыре комнаты именно поэтому.

К шатру я вернулся один раз, лет через сорок, и то по дороге. Шатра не было, стояли чужие, и старуха у входа сказала, что до них тут жили какие-то, но давно, и что колодец с тех пор пересох. Имя я спрашивать не стал — не оттого, что не хотел знать, а оттого, что старуха была словоохотливая и рассказала бы всё.

Сию теперь в кресле, старом, продавленном под меня за столетия, и пью чай, единственное, на чём не экономлю, и пью его оттого, что чай не обещает ничего, кроме тепла, и тепло это неизменно даёт — качество, которого я за тридцать веков больше нигде не встретил.

А ступенька в подвале шатается до сих пор. Когда-то это был колодец в пустыне, потом порог в Иерусалиме, потом плитка в Риме, теперь ступенька на подмосковной даче, — меняется решительно всё, кроме слова «завтра». Но чай хороший. Это я знаю точно.

Документ 1

FAQ для новых членов Комитета по делам вечности

(Часто задаваемые вопросы)

Составлено: коллективно, редактировалось последние 500 лет

Последнее обновление: 1987 год

Раздел 1. Общие вопросы

В: Что такое Комитет по делам вечности?

О: Организация, управляющая верованиями человечества с целью предотвращения массового отчаяния и связанной с ним гибели популяции. Основана примерно 3000 лет назад. Юридический статус — отсутствует. Налоговый статус — аналогично.

В: Сколько нас?

О: Сейчас шестеро. Иногда больше, иногда меньше. Точный подсчёт затруднён — некоторые члены периодически «уходят подумать» на несколько столетий.

В: Мы бессмертны?

О: Не совсем. Мы не умираем от старости или болезней. Но нас можно убить — обезглавливание, сожжение, утопление работают. Проверено эмпирически. Не рекомендуется к повторению.

В: Почему мы бессмертны?

О: Неизвестно. Теории включают: божественное вмешательство (маловероятно, учитывая наш род деятельности), генетическую мутацию (возможно), проклятие древнего египетского жреца (не подтверждено), статистическую аномалию (любимая версия М.Я. Кацнельсона). Рекомендация: не думать об этом слишком много.

Раздел 2. Практические вопросы

В: Где мы живём?

О: Преимущественно — дача в Переделкино. Иногда — другие локации. Конспиративные квартиры в Париже, Вене, Стамбуле, Нью-Йорке. Список актуализируется раз в столетие.

В: Откуда деньги?

О: Инвестиции. Три тысячи лет сложного процента — существенная сумма. Детали — у М.Я. Кацнельсона. Не спрашивайте у него, если не готовы слушать четыре часа.

В: Что делать, если кто-то узнает правду?

О: Зависит от обстоятельств. Варианты: 1. Убедить, что это шутка/розыгрыш 2. Дискредитировать источник (сложнее с интернетом) 3. Принять в организацию (крайне редко) 4. Устранить (НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ с 1648 года — слишком много бумажной работы)

В: Что делать со ступенькой в подвале?

О: Обходить слева. Держаться за перила. НЕ ЧИНИТЬ — вопрос на рассмотрении с 1347 года.

Раздел 3. Этические вопросы

В: Мы — злодеи?

О: Сложный вопрос. Мы лжём миллиардам людей на протяжении тысячелетий. С другой стороны, эта ложь, возможно, спасла миллионы жизней. Рекомендация: не думать в категориях «добро/зло». Думать в категориях «работает/не работает».

В: Мы когда-нибудь скажем правду?

О: Вопрос на рассмотрении. С 847 года. Голосование — не определено. Последняя попытка — 1917 год, отложено. Следующая попытка — возможно, 2026 год.

В: Что будет, если мы скажем правду?

О: Неизвестно. Возможные последствия: массовая паника (70%), коллективная депрессия (45%), войны (30%), ничего существенного (5%), облегчение и принятие (2%). Цифры приблизительные — см. записки М.Я. Кацнельсона.

Раздел 4. Бытовые вопросы

В: Кто готовит?

О: Р.М. Гольдберг. Без исключений. Попытки помочь на кухне караются. Строго.

В: Кто отвечает за финансы?

О: М.Я. Кацнельсон. Не спорить. Не предлагать альтернативные инвестиции. Не упоминать криптовалюту — он не успокоится неделю.

В: Кто отвечает за технологии?

О: Ж. Дюваль. С 1990 года. До этого — никто, технологии развивались слишком медленно.

В: Можно ли цитировать Экклезиаста?

О: Можно. Но будьте готовы к реакции М.Я. Кацнельсона.

В: Сколько чая пьёт председатель?

О: Неизвестно. Предположительно — бесконечно.

Примечание: данный FAQ не является юридическим документом и не создаёт никаких обязательств. Все рекомендации — добровольные. Нарушение **рекомендаций может привести к неодобрительным взглядам** Р.М. Гольдберга, что, по общему признанию, страшнее любых санкций.

Приписка **Г.А. Штейнберга**:

«FAQ неплохой. Но пункт про ступеньку — устарел. С 1 января 2026 года — ПОЧИ-НЕНО. Обновить при следующей редакции.»

Глава вторая

31 декабря, 5:00 — 7:00. Кухня

За стеной у Арика поскрипывал диван, замолкал и снова вздыхал пружинами, — мальчик ворочался с боку на бок и никак не укладывался. Раз босые ноги дошлёпали до двери, потоптались и вернулись, и продавленное ложе приняло его с прежним стоном. По потолку в коридоре наливался и гас синеватый отсвет — телефон в чужой бессонной руке загорался и тух.

Осколок я вертел в пальцах, тёплый, гладкий, обкатанный за две тысячи лет до состояния леденца. С карниза сползал мокрый снег и валился комьями во двор, где под фонарём темнела натоптанная за праздники тропа — к ларьку и обратно, к ларьку и обратно.

На смоленском тракте в 1812 году снег был другой, сухой и злой, и летел он горизонтально. В возке кутался в шинель поверх мундира небольшой человек, серый лицом, с воспалёнными веками, и жаловался адъютанту, что в этой стране воюет не армия, а зима. Говорил тихо, обиженно, с интонацией человека, с которым обошлись нечестно и не по правилам. Гений, покоритель Европы, а сидит и хлопает носом на морозе, как приказчик, застуженный в дороге. К весне правота его подтвердилась — от великой армии вдоль обочин осталось то, чего не считают, а объезжают.

Внизу у баков дежурил мусоровоз с горящей кабиной, водитель ел в ней, обхватив свёрток обеими руками, и заводиться не спешил, — видно, и ему в последнее утро года никуда не хотелось. А меня держало за столом другое — что и сколько успел вызнать Маск, и над этим я бился от звонка до рассвета и не пришёл ни к чему.

* * *

В 1453 году, когда турки пошли на приступ, я стоял на стене и звался Симеоном — по-здешнему, для греческого города.

Рядом со мной стоял монах с седой бородой до пояса и молился громко и истово, без малейшего сомнения, что его слышат.

Стену прорвали в трёх местах, монах погиб одним из первых, и чуда не случилось ни для него, ни для города. Копьё вошло ему в грудь, он сел на камни, и последнее, что он выговорил, было: «Господи, почему?»

Ответить я ему мог, и всё нужное было заготовлено давно — что Господа нет, что придумали его в пустыне от страха и от нечего делать и что молитва его уходила в пустоту, которую мы обставили словами и обрядами, чтобы она не так пугала.

Ответа он не получил. Он уже не слышал, а мёртвым правда ни к чему, как и всё прочее, и в этом их огромное перед нами преимущество. Я постоял рядом, пока не стало ясно, что стоять больше не за чем, и пошёл вниз, к воротам, и всю дорогу думал, что так и не выучился делать это как следует — уходить от человека, которому только что не ответил.

Из города я убежал через подземный ход, старый, ещё римский, — мы про него знали, как знали в этом городе всё. Идею подкинули ему тоже мы. «Новый Рим» — звучит? Наша работа, и я до сих пор считаю её хорошей — два слова, а держали тысячу лет, и держали бы дольше, если бы стены были крепче слов. Стены оказались слабее, и так с ними всегда.

Потерял я в ту ночь и сундучок — дорожный, кожаный, с медными застёжками, византийской работы, ручная выделка. В нём лежало самое ценное — три свитка из Александрии (копии, разумеется, оригиналы сгорели), печать Комитета и сменная рубаха. Рубаху не жалко. Свитки жалко до сих пор, и жён у меня было много, а ни одну я не вспоминаю так часто, как его.

А за окном светало над Москвой, тускло и по-зимнему, и в соседней комнате наконец затих Арик — то ли заснул, то ли притворяется, то ли лежит с открытыми глазами и пересчитывает всё, что я ему рассказал, как Миша пересчитывает убытки, снова и снова, в надежде, что цифры переменятся.

* * *

Григорий Аронович по телефону подробностей не сказал, но он их вообще говорит редко — считает, что умный поймёт сам, а на прочих незачем тратить слова. Понимаю я, положим, меньше, чем хотелось бы. «Тайная организация, которая тысячелетиями манипулирует верованиями человечества» — сказано неприятно точно, будто Маск цитировал наш внутренний устав, которого у нас нет и никогда не было, — за все годы мы так и не сумели договориться, как себя называть. «Комитет по делам вечности» стоит в бумагах с восемнадцатого века и держится на одном — бланки уже напечатаны.

* * *

В шесть Арик приплёлся на кухню — футболка вчерашняя, мятая, на щеке красная полоса от подушки, волосы дыбом. Телефон принёс с собой, положил экраном вниз и накрыл ладонью.

— Кофе есть?

— Растворимый.

— А нормального нет?

— Нормальный дольше варить, а у нас, извини, конец света по расписанию.

Он хмыкнул — впервые за ночь. Банку с продавленным боком обстучал о край стола, расковырял ложкой окаменевший порошок, залил кипятком, обхватил кружку и пить не стал.

— Дед. Я всю ночь думал. Выходит, ты застал этот город ещё до водопровода, до трамваев, до электричества. Или ты меня разыгрываешь, или тебе к доктору.

— К доктору спокойнее, — согласился я. — Выбирай доктора, будешь крепче спать.

Ложка у него так и замерла над кружкой, и порошок с неё ссыпался обратно.

В Помпеях за день до конца меняла у форума тоже не верил. Вулкан дымил с утра, пепел садился на монеты серым налётом, старик смахивал его рукавом и покрикивал на раба, чтоб нёс воду. Сосед уже грузил телегу и звал с собой, а этот отмахивался — гора коптит с дедовых времён, торг в разгаре, куда ехать. К ночи его и накрыло за прилавком, с ладонью на медяках. Откопали таким через семнадцать веков, и все умилились, до чего трудолюбивый был человек.

— И правильно, что не веришь, — сказал я. — Вера — товар дешёвый, её на любом базаре к обеду распродают. Ты потрогай.

Расстегнул ворот, спустил рубаху с плеча. Он не ткнул пальцем, как ночью, а придвинулся, повернул моё плечо к серому окну и повёл глазами по рубцу, по стянутому неровному краю.

— Так не режут, — сказал тихо. — И так не гримируют. Я на съёмках видел, как раны клеят. Это не грим.

— Копьё, — сказал я. — Финикийское. Чинили меня в тот раз хуже, чем эту рубаху.

Он опустил на табурет, и ладонь сама сползла с телефона на стол. За окном погас последний фонарь, в доме напротив зажглось окно, за ним другое, проползла ранняя маршрутка, расплёскивая слякоть.

— Ладно, — сказал он. — Пусть копьё. Но я всё равно не пойму. Тысячи лет, Египет, Рим. Чего вас сюда занесло? Почему Россия? Не Иерусалим, не Нью-Йорк — Москва, окраина, панелька с мусоровозом под окном.

— Хороший вопрос, — сказал я. — Ты знаешь, сколько в России было революций за последние сто лет?

— Две. Семнадцатый год.

— Две — это в учебнике. — Я стал загибать пальцы и сбился на восьмом. — А настоящему их столько, что пальцев не хватает. Каждый раз ломают под корень и строят заново, а где ломается старое, там людям нужен новый смысл. Теряют веру в царя — нужна вера в партию, теряют веру в партию — нужна вера в рынок, теряют веру в рынок — нужна вера в державу. Мы поставляем. Без перебоев, при любой власти.

— То есть вы тут сидите, потому что рынок хороший?

— Мы тут сидим оттого, что спрос на смысл в этой стране не кончается. Ищут его при всякой погоде и не находят ни разу, а лучших условий для работы не бывает. В сытой стране с этим худо — человек наелся, устроился, крыша не течёт, и мы ему без надобности. А тут душа болит круглый год. Клиент вечный.

Он повертел кружку, глядя в бурую жижу, где на дне осела гуща, которой у растворимого братья неоткуда, потом отставил её и забыл, и она так и стыла нетронутой до самого ухода.

— А я тебе зачем? — спросил он. — Ну, ищите вы смыслы. У тебя три тысячи лет стажа. Я-то на что — без работы, без жены, с прогоревшим стартапом?

— На то и годишься. — Врать битому нельзя, битый чувствует, и я не стал. — У тебя всё выгорело за неделю — ни работы, ни семьи, ни планов. У кого дела да ипотека, тот меня и слушать не станет, ему некогда. А у тебя за душой хоть шаром покати, и на этом пустыре хорошо строить заново. К тому же вашу сеть ты читаешь, как я когда-то читал базар, — где чем пахнет, где вот-вот качнётся, где галдят громче, чем стоило бы. Такой мне и нужен, а тут ещё и родная кровь. Одна беда — упрямый.

Он поднял на меня глаза, и злости в них не осталось — одна усталость и что-то отпущившее.

— А если приеду, а там пусто?

— Развернёшься и уедешь. И сдашь меня доктору, я разрешаю. — Я поднялся, сполоснул чашку, поставил донцем вверх. — Только рассуди сам. Тридцать первое декабря, шесть утра. Маша у мамы, стартап на кладбище, друзья по клубам. Куда ты денешься? Будешь сидеть тут один и смотреть в окно, как чужие люди наряжают ёлку. А со мной хоть съездишь и поглядишь на компанию, которая постарше твоих проклятий.

Он молчал, и я видел — крыть нечем.

— Ладно, — сказал он наконец. — Поехали смотреть твой конец света. Только учти, я не поверил. Просто одному тошно.

— За это и берут, — сказал я. — Одевайся теплее. Там, куда едем, топят по старинке — то есть никак.

Отец

Аарон. Время неизвестно. Пустыня.

Мой сын не стареет, и заметил я это первым, раньше него самого, — и не по лицу, а по зарубкам.

В шатре у нас стоял средний столб, я ставил его своими руками, и на нём отмечал сыновий рост, как делает всякий отец, у которого есть нож и подходящее дерево, — сперва отметки шли часто, потом реже, а после одной новых не прибавилось вовсе. Года три я ещё ставил его к столбу и в шутку прижимал ему макушку ладонью, и он смеялся, и оба мы видели, что отмечать больше нечего, а на четвёртый год бросил и не заводил этого впредь. Зарубок я не трогал, они там и остались, все девятнадцать, и последняя приходится мне вровень с глазом, а раньше приходилась вровень с плечом, потому что за эти годы я сел.

Годы я считать перестал ещё до того, как он вырос, — в пустыне их и не считают, а меряют тем, сколько коз осталось и сколько колодцев пересохло, — но своё я по себе знал точно: колени ломило на перемену погоды, правый глаз затягивало белым, и шило я держал ближе к лицу, чем прежде, а после и вовсе просил сына вдеть нитку. А он двигался и работал, как в двадцать лет, и волос у него был чёрный весь, до последнего, и зубы целые, и смех остался мальчишеский. Только глаза сделались другие, и я долго не мог подобрать этому слова, а потом подобрал: это глаза человека, который не устаёт и оттого устал.

Жена моя, его мать, умерла раньше срока, и я помню её последний день и как она поглядела на Гершона и шепнула мне: береги его. Я тогда не понял, от чего беречь — от людей или от него самого, — и переспросить не успел, а теперь понимаю и переспрашивать не у кого.

Я знаю, отчего мой сын такой, и знание это тяжелее всего, что я поднимал за жизнь, а поднимал я много и в своё время считался сильным.

Один раз я клал не свой камень. В долине, где река разливается и земля от того чёрная, царь велел ставить каменную гору к небу, и нас на ней было тысячи, и каждый камень весил больше, чем весь мой скот, и людей под ними оставалось столько, что счёт вели не по именам, а по артелям. Внутри, в самой середине, была комната — маленькая, с потолком таким низким, что в полный рост не встать, — и я в ней был. Что я там видел и что слышал, я не скажу ни сейчас, ни после, и не оттого, что запретили, а оттого, что слов на это у меня нет и не было никогда. Скажу одно: когда я вышел на свет, солнце показалось мне другим — не жарче и не ярче, а другим, будто я его до того дня не видел, — и я простоял на площадке, пока меня не толкнули. Через три месяца родился Гершон.

На третью ночь после его рождения ко мне пришли. Я не спал, сидел у входа и держал его на руках, и пах он молоком и глиной, и мне сказали, что он будет ходить по земле, когда не станет ни меня, ни детей моих, ни того колена, что придёт за ними, и что он даст людям то, без чего им не прожить, а дать это больше некому. Мне объяснили и чего это будет ему стоить, объяснили подробно и не соврали ни в чём, я после проверил каждое слово. И я согласился.

Какой отец не согласится.

Он меня спрашивал, и спрашивал не однажды, с того самого дня, как понял, что вокруг него хоронят, а его самого не хоронит никто, — и всякий раз я отвечал: не знаю. Ему одному я в жизни соврал, и врал потом до конца, и ложь эта лежала на мне тяжело, а правда легла бы тяжелее, и не на меня, а на него.

Однажды он привёл мальчика — тощего, лет двадцати, с руками не под камень, а под тростинку, — и сказал: отец, это Мойша, он будет записывать. Мойша заикался и глядел не на меня, а куда-то мимо, туда, где ещё ничего нет, и ел он молча и быстро, как едят люди, которых в жизни мало кормили. Я поставил перед ним миску, а сам вышел за полог и постоял там, пока не отпустило. Не за себя мне сделалось нехорошо и не за сына, а за мальчика.

Гершон спрашивал меня, зачем я всё время строю, когда можно сидеть и говорить, и я отвечал ему, что за словом никто не приходит через сто лет посмотреть, стоит оно или упало, и что в этом вся разница между нашими ремёслами, и разница не в мою пользу — моё проверяют, а его нет.

Последний шатёр я ставил один, и он встал кривой — колья не шли в грунт, растяжка обжигала ладонь, я перетягивал трижды, и всякий раз выходило хуже прежнего, а к вечеру бросил, лёг и лежал с открытыми глазами и думал не про шатёр, а про то, что вот и всё, приехали. Ночью я слышал, как снаружи кто-то тихо, чтобы не разбудить, выбивает колья и заводит их заново, и как ходит по кругу, натягивая. Утром шатёр стоял прямо, а сын сидел у огня и грел руки, и на ладонях у него были свежие ссадины от верёвки, и мы с ним про это не сказали ни слова, ни в то утро, ни после, и я до сих пор считаю, что так было правильно, хотя поблагодарить стоило.

Умер я весной, когда цвела акация и воздух стоял медовый, и умирал долго и без страха, а страшно мне было только за него, и это единственное, что я не сумел ему сказать.

Он сидел рядом и держал мою руку, и рука его была тёплая и крепкая, а моя лежала в ней сухой веткой, и я всё смотрел на его чёрные волосы и думал, что вот я ухожу первым, как оно и положено, а второй раз ему этого не положено уже никогда.

— Отец, — сказал он. — Ты знал?

В последний раз он спросил, и в последний раз я соврал.

— Нет, — сказал я. — Не знал.

Он не поверил. Мы лежали молча, держась за руки, и на том простились, и лучшего дать друг другу не могли.

Мерная верёвка моя лежала свёрнутая у изголовья, с узлами через локоть, и вязал я их сам, и хотел сказать про неё, что она ещё годная и пусть возьмёт, — но говорить было уже тяжело, а он и без того посмотрел сперва на неё, а потом на меня.

Мне бы хотелось, чтобы однажды он взял в руки не слово, а камень и положил его так, чтобы держалось.

Может, ещё и увижу — оттуда, сверху. В звёзды я верю. Хотя знаю, кто их придумал.

Звёзды

Нахум. Время неизвестно. Пустыня.

Умираю я спокойно, и не оттого, что устал, хотя устал, конечно, — семьдесят лет в пустыне уморят кого хочешь, — а оттого, что знаю наперёд, куда иду и кто меня там встретит: отец с матерью, брат, которого в молодости взяла змея и который перед тем сел на камень и сказал, что укусы пустяковый, первая жена, сгоревшая в лихорадке за четыре дня, так что я не успел даже испугаться как следует, и мой старший, но про старшего после.

Ту ночь я держу в теле, хотя голова уже путает и вчерашнее выходит у меня дальше сорокалетнего, и держу я оттуда камень, на котором сидел, и то, что темнота снаружи ничем не отличалась от темноты внутри, и это было единственное, что меня тогда занимало, а больше не занимало ничего — ни жена, сидевшая рядом и державшая мою руку так, будто я уйду, если она отпустит, ни дети, стоявшие поодаль, где младший цеплялся за старшего и ничего не понимал, а старший всё понимал и не плакал, потому что я его так выучил. Зря выучил. Плакать — тоже жизнь, и это человеку надо оставлять.

Потом подошёл чужой, сел рядом и долго молчал, и молчание у него было не гостевое и не из вежливости, а такое, будто ему решительно некуда торопиться, — а мне торопиться было куда, я третий день умирал, и я спросил его: зачем. Других слов у меня к тому часу уже не осталось, а на это одно ещё доставало дыхания.

Он показал на небо и сказал.

Слов я не запомнил, а запомнил голос — низкий и негромкий, будто и не мне сказанное, а как бы про себя, — и ещё то, что к утру мне впервые за три дня захотелось пить, и я эту жажду помню отчётливее всего, что было в моей жизни после.

* * *

После той ночи я прожил сорок лет и прожил их как живёт человек, которому сказали, что всё не зря, а сказали ему это один раз и больше не повторяли.

Пас коз, и великим пастухом не был, а был добрым: козы у меня стояли сытые и не пуганные, а непуганая коза даёт вдвое, чего многие не понимают и оттого всю жизнь гоняют скотину палкой и всю жизнь удивляются надою. Жена сбивала сыр, и брали его через два стойбища, и один торговец возил его в город и врал там, что делает сам, а я про это знал и молчал, потому что врал он складно, брал помногу и платил вперёд, и на такого грех обижаться.

Года через три у соседа умер младенец, и сидел он в точности так, как сидел когда-то я, и смотрел в ту же точку, где ничего нет, и я пришёл и рассказал ему про звёзды — рассказал скверно, потому что у чужого это ложилось складно и одно за другим, а у меня спотыкалось, и половину я к тому времени успел забыть, и в середине запутался и начал сначала. Всё равно подействовало: наутро сосед поднялся, зарезал козу и созвал людей, и на поминках был почти весел, а я сидел с краю, ел его мясо и думал, что вот, оказывается, как это просто и как страшно, что просто.

После этого ко мне пошли — сперва из нашего стойбища, потом из соседних, а под конец и вовсе издалека, из мест, о которых я и не слыхивал, — садились, молчали, спрашивали своё «зачем», и я отвечал им то, что когда-то сказали мне, и с каждым разом увереннее, оттого что видел: помогает. Платы я не брал, брали козами, к старости их набралось сорок с лишним, и жена ворчала, что пасти некому, и была, как всегда, права.

Однажды я заметил за собой, что прибавил своего — будто звезда горит ярче у того, кто при жизни никого не обидел, — и никто этого не заметил, и с тех пор я прибавлял, когда требовалось, и всякий раз оно ложилось лучше того, что говорили когда-то мне, а стыдно, признаться, не было ни разу.

* * *

Тот, что говорил со мной у камня, проходил мимо нас раз в несколько лет, останавливался, пил молоко из одной и той же чашки и спрашивал про детей, про приплод и про ступеньку у входа в шатёр, которую я обещал поправить и не поправил, и всякий раз обещал заново, и всякий раз он это принимал всерьёз.

И всякий раз я замечал, что он не переменялся ни на волос — ни седины, ни морщины, ни лишней складки у рта, — а я за это время схоронил двух жён и брата, и вторую хоронил в год падежа, когда мы доели последний приплод и я думал, что не переживу зиму, и он пришёл той же весной, и был точно такой, каким я запомнил его в первую ночь, и пил из той же чашки, и чашка к тому времени была шербатая.

Спрашивать я не стал, потому что у нас в пустыне это понимают с малолетства: есть вопросы, после которых человек уходит и больше не приходит, а мне нужно было, чтобы приходил.

* * *

Старший вырос и пошёл в воины, и через два года его привезли на верблюде, накрытого своим же плащом, и я хоронил его сам, никому не отдал, и, пока закапывал, держал в голове одно — он уже там, наверху, и смотрит на меня сверху, а значит, надо не выть, а работать лопатой как следует. Утешение было настоящее, как хлеб и как вода в жару, и вот тогда я впервые понял, что мне дали в ту ночь у камня и сколько оно стоит.

Младший остался при козах, женился и наплодил мне внуков, и с этим у нас в семье всегда было хорошо.

Внукам я рассказывал про звёзды теми же словами, только покороче, потому что дети долго не сидят, а дальше ещё короче, оттого что и сам стал уставать быстрее, — а старший внук, подросши, пересказал это своим и переврал: у него выходило, что звёзды не души, а огни, которые души зажигают, и что зажигать пускают не всякого, а лишь того, кто много работал. Я не поправил. У него выходило складнее моего, да и работать он от этого стал больше, а мне в мои годы было уже всё равно, чьими словами оно держится.

* * *

Умираю я под вечер, и вышло это удачно. За пологом гонят стадо с водопоя, и слышно, как доят — сперва звонко в пустое ведро, потом глуше и глуше, — и пахнет пылью, шерстью и парным молоком, а эти три запаха я знаю лучше, чем лица собственных внуков.

Внуки, впрочем, тут же, у входа, и младший сын рядом, и третья жена растирает мне ступни, которых я давно не чувствую и говорить ей об этом не стану — пусть делает, ей так спокойнее, а мне от её рук ничего не убудет.

Сквозь прорехи в пологе видно, как темнеет небо.

— Иду посмотреть на звёзды, — говорю я. — Ближе.

Может, тот человек и соврал, может, звёзды — просто огни, и за ними ничего, и весь смысл, который я себе нашёл, придуман чужим у костра за одну ночь и придуман наспех. Ну и пусть. Сорок лет: дети выросли, внуки народились, козы сытые, сыр берут через два стойбища, а ступенька у входа шатается и держит.

Звёзды горят. Я иду к ним. Ближе.

Глава третья

31 декабря, 7:00 — 9:00. Дорога

Собираться начали в семь, и первым делом я достал из шкафа пальто — старое, тяжёлое, с каракулевым воротником, пахнущее нафталином и пятидесятыми. Куплено оно в феврале тысяча девятьсот пятьдесят третьего, и продавец, заворачивая покупку в бумагу, пообещал, что вещь эта — на всю жизнь, а я подумал про себя, что вещь скорее на две. Через месяц я стоял в этом пальто у Колонного зала, в очереди, которая не двигалась и не расходилась, и мне в нём было тепло, а вокруг мёрзли, и от этого делалось стыдно. Воротник с тех пор облез, подкладка истёрлась, греет оно по-прежнему, и всякий раз, надевая его, я испытываю неловкую нежность к тряпке, оказавшейся выносливее всех, кто её при мне хвалил.

— Едем на машине, какого она у тебя года? — спросил Арик.

— Две тысячи третьего.

— Слава богу.

— А ты на «Победу» рассчитывал?

— Я уже ничему не удивляюсь. — Он натянул мятую куртку, в которой, судя по всему, собирался дожить до старости. — Просто уточняю.

— «Победа» была машина хорошая, надёжная, вот только запчасти... — Я махнул рукой. — Ладно, пошли.

* * *

Москва в семь утра тридцать первого декабря — зрелище особое. Город уже не спит, но ещё не встал, висит между, как человек, который открыл глаза и не решил, подниматься или притвориться мёртвым. Фонари горят без надобности, небо серое, ни светлое ни тёмное, никакое.

Во дворе женщина в пуховике поверх халата выгуливала таксу, и обе явно мечтали поскорее вернуться в тепло. Дворник, скребший лёд с рассвета, взялся теперь за реагент и сыпал его из ведра не спеша, вразвалку, — к вечеру всё равно наметёт, а торопиться в последний день года некуда. В окнах первого этажа кое-где мигали забытые с ночи гирлянды, на балконе задубела на морозе детская шубка, а у подъезда трепалось на ветру объявление о вывозе ёлок с четвёртого января.

Монах, прибавивший свои тезисы к дверям собора, ничего особенного не сделал — так вывешивали объявления о диспутах, и в тот день никто головы не поднял. Через полтора месяца те же тезисы лежали стопками в лавках от Виттенберга до Рима, и вот это было новостью. Тысячу лет мы держали слово в книгах, переписанных от руки, по одной и под замком. Считать книги легко, когда их сорок. Когда их сорок тысяч, считать перестаёшь.

Со двора мы выехали в тишине, я за рулём, Арик рядом, лбом к стеклу.

— Куда едем? — спросил он.

— Переделкино.

— Писательский посёлок?

— Он самый.

— Ваша контора прячется среди писателей?

— Мы хоронимся среди кого угодно, а писатели — вариант не худший, они заняты собой и соседей не замечают.

— Логично.

— Григорий Аронович купил там дачу в тридцать восьмом, дёшево — прежний хозяин освободил жилплощадь.

— В тридцать восьмом — это...

— Да. — Продолжать не стал, ни к чему. — Дача старая, холодная, крыша над архивом течёт с шестьдесят восьмого, зато своя, а главное — подвал, там архив.

— Архив чего?

— Всего. Документы, протоколы, отчёты, переписка, доносы, оправдания — три тысячи лет всё складывали и ничего не выбрасывали.

— И всё в одном подвале?

— Московская часть. Есть ещё в Иерусалиме, в Лондоне, в Нью-Йорке. Была в Александрии, да там случился пожар.

— Александрийская библиотека?

— Она. Много потеряли — рецепт греческого огня, вторую часть «Поэтики», список должников. — Помолчал. — Список особенно жаль, там встречались занятные имена.

* * *

Арик молчал, глядя на дорогу, на редкие встречные фары, на низкое небо, набухшее снегом, который всё не решался упасть. У обочины двое в фартуках выгружали из машины ящики с мандаринами, заносили в магазин, и один ящик надорвался, мандарины раскатились по снегу оранжевыми пятнами, и мужики, бранясь, собирали их голыми красными руками. В приёмнике бубнил ведущий, обещавший слушателям, что этот год они запомнят навсегда, и обещал так, будто сам себе верил.

С проповеди всё и начиналось. Человек в поле под Клермоном, охрипший, встав на телегу, крикнул толпе, что за морем поругана святыня и сам Бог зовёт её отбить, — и пошло по рядам, сперва передние, потом задние, потом уже и те, кто слов не расслышал, а орал со всеми «Так хочет Бог», и какая-то баба совала соседке спящего младенца, чтобы освободить руки и воздеть их к небу. Слово это мы сложили сами, и вышло красиво, чтобы двинуть людей на восток по торговым надобностям, — а двинули на бойню, и по дорогам к Иерусалиму потом лежали те, кто поверил, что дойдёт и спасётся. Сработало вернее, чем рассчитывали, и хуже, чем хотели. Мы, помнится, потом по этому поводу заседали — долго, обстоятельно, с примерами, и в протокол занесли, что формулировку следовало взять поосторожнее, — а по дорогам в это время шли дети, и ни одна наша формулировка их уже не касалась.

— Кто будет на заседании? — спросил он наконец.

— Наши. Московская ячейка — шестеро со мной, а с тобой семеро, если согласишься.

— Я не согласился.

— Но поехал.

— Поехал посмотреть. Это другое.

— Это то же самое, только названо иначе.

Он хмыкнул — узнал свою же манеру, которую я ему вернул.

— Расскажи хоть про них. Чтобы знать, чего ждать.

— Чего ждать, не знает никто. А начну с главного — с Григория Ароновича.

Впереди показалась развязка, я ушёл в левый ряд.

Когда-то он сидел у входа в пещеру восточнее Хеврона, привалившись спиной к камню, вытянув ноги, скрестив руки на груди, — пришёл по зову и всем видом показывал, что предпочёл бы не приходить. Пещеру нашли случайно, гоняясь за сбежавшей козой, а жил в ней гончар, четыреста лет один, и лепил горшки, сотни штук, все как на подбор. Утренний свет входил косой полосой, и в ней висела глиняная пыль, снаружи пастух гнал стадо и лаялся с собакой, та кидалась на коз, а козы блеяли на обоих, и весь этот галдёж был единственным, что происходило в то утро под небом, — если не считать четверых, которые в прохладе пещеры решали, как назвать то, что затевают, а без названия оно оставалось горсткой людей с горшками. Гончар держался мнения, что убедительнее горшков на свете всё равно ничего не звучит. А Гершон и тогда молчал дольше, чем произносил, — ронял слово, откидывался к камню

и ждал, договорит ли собеседник за него, и почти всегда договаривали, лишь бы не тонуть в его паузе.

— Сколько ему лет? — спросил Арик.

— Много. Сам, думаю, сбился со счёта. Говорит, из Вильно, но когда он родился, Вильно звалось иначе и стояло в другом месте.

— А с виду?

— Маленький, сухой, согнутый вопросительным знаком, в кофте, которую носит с моей молодости, а моя молодость была давно. Пьёт горячую воду с мёдом, ест по крошке от каждого блюда и держит руки на столе, сцепив пальцы в замок.

— Приятный, видимо, человек.

— Мудрый. С годами это оказывается важнее.

— А в этом вашем интернете он хоть что-нибудь понимает?

— В интернете — никто из нас, кроме одной. — Я сбавил ход, пропуская вылетевшую со второстепенной «Газель». — Жанна. Она у нас за связь с миром — газеты, потом телеграф, потом радио, теперь вот это всё: сети, ленты, что там у вас мелькает быстрее, чем успеваешь прочесть. Остальные ещё письмо голубем провожали взглядом, а ей уже было ясно — важно не что сказано, а сколько человек услышало разом и как скоро.

— Откуда в ней это?

— Она при том и росла. В ту ночь, когда посреди океана тонул пароход, каких прежде не строили, Жанна сидела в Лондоне, на приёмной станции, в наушниках. По воздуху, без единого провода, летели три точки, три тире, три точки, и слышали их одновременно десять станций на двух берегах, и с разных сторон к тонущим уже разворачивались корабли. Оператор за соседним столом снял наушники и вышел, а вернулся не скоро. А она записывала и уже видела то, чего не видел никто, — голос, оторвавшийся от бумаги и пушенный в воздух, догоняет беду быстрее, чем беда успевает случиться, и владелец такого голоса отныне сильнее любого печатного станка.

— И что вы с этим сделали?

— Ничего. Опоздали, как всегда. Пока разобрались, воздух уже был не наш.

Переделкино вынырнуло из-за поворота — заборы, дачи, сосны, тихо и провинциально, будто рядом не Москва, а какой-нибудь Торжок. За третьим забором от угла, по слухам, до сих пор дописывают роман, начатый при Брежневе.

— А остальные? — спросил Арик.

— Остальных увидишь сам. — Я свернул с широкого шоссе, деревья подступили, потянуло лесом и дымом из печных труб. — Пять минут — и на месте, всех разом и застанешь.

— Погоди. Ты назвал двоих — его и себя. Остальные пятеро?

— Там, за столом. Живьём оно вернее, чем с моих слов. Я про них тебе наговорю, ты составишь картинку, и картинка выйдет неверная. Люди — не то, что о них рассказывают.

Он коротко хохотнул, и вышло у него неубедительно.

— Это безумие.

— Это работа. — Я свернул на узкую дорогу между заборами. — Всё, приехали.

Исход

Мойша. Около 1250 года до нашей эры. Пустыня Синай.

Писать я не хотел, и говорю это сразу, чтобы после не пришлось оправдываться, — выходит это у меня скверно, я заикаюсь, путаюсь и к третьей фразе оказываюсь виноват в том, чего не делал.

В тот вечер Гершон говорил у костра, а я сидел в стороне, там, где жар уже не слепит и ещё видно лица. Их было десятков пять — пустые бурдюки, стоптанные ноги, дети, которых несут на руках не из нежности, а потому что сами они больше не идут. Он говорил про землю, текущую молоком и мёдом, и женщина в третьем ряду заплакала, хотя вкуса молока она, я думаю, не знала отродясь, а слёзы у неё пошли оттого, что слова были красивые и падали в неё, как вода в сухой песок, который берёт сколько дадут и просит ещё. Он говорил про завет и про то, что страдание есть испытание, а награда впереди, и мужчины кивали и сжимали кулаки так, будто награда уже лежит на столе и осталось протянуть руку, а я глядел на них и думал, что за всю мою долгую жизнь не видел ничего страшнее человека, которому пообещали справедливость.

Он врал, я это слышал, он про меня догадывался, а полсотни человек вокруг смотрели и верили, и вся разница между нами и ими помещалась в этом зазоре, который с тех пор не сузился ни на палец.

Когда костёр сел до углей и все разошлись, унося слова в пригоршнях, как носят воду, он подошёл и сел рядом, и от него несло дымом и горькой травой, которой в пустыне пропахло решительно всё, так что через сто лет ты этого не различаешь вовсе, а различишь только тогда, когда человек, от которого ждёшь неприятного разговора, сядет с наветренной стороны.

— 3-запиши, — сказал я, и это были первые мои слова за весь вечер.

— Ты же против.

— Я п-против. Но если не запишу я, запишет другой, и запишет плохо, и через сто лет никто не разберёт, как оно было.

— А как оно было?

Отвечать я не стал — ответа я не знал, а врать ему бесполезно. Он видит ложь, как видят свет сквозь редкую ткань, и делает при этом такое лицо, будто ему за тебя неловко, — и вот этого лица я не выношу до сих пор.

— Я запишу к-красиво, — сказал я наконец. — Это не то же самое, что точно. Но лучше, чем ничего.

Согласился он немедленно, и по этой быстроте я понял, что шёл он ко мне именно за таким ответом и что весь разговор был у него разложен заранее, как раскладывают перед дорогой поклажу.

* * *

Писал я сорок дней, хотя управился бы и за половину срока, а вторую половину прибавил не по лени, — просто сорок число хорошее.

Числа я собираю с молодости, как иные собирают камни. Одни западают в человека намертво, другие проваливаются, не задев, и закономерность тут есть, только её никто не удостоился описать. Семь звучит окончательно, как хлопок ладонью по столу. В двенадцати слышится порядок и распределение. Сорок — довольно много, чтобы отнестись всерьёз, и мало, чтобы усомниться. А тридцать восемь или сорок три не удержит никто и правильно сделает — в них не судьба, а бухгалтерия.

Глина по утрам была прохладная и упрямая, к вечеру тёплая, податливая и почти ласковая, и я поймал себя однажды на том, что глажу её большим пальцем без всякой надобности, — а стилос — тростник в пустыне идёт на вес серебра, и каждую палочку я обре-

зал заново — оставлял борозду прямую, если рука шла спокойно, и виляющую, если я в ту минуту сомневался. Почерк выдавал меня надёжнее лица — вот здесь я верил себе, а вот здесь буквы поплыли вбок, будто собрались потихоньку уйти со своих мест и оставить меня отвечать одного.

Содержание давал Гершон, я давал форму, и в этом было всё дело, хотя объяснять это ему я не брался — он бы не понял и обиделся бы, а обижается он молча и на годы.

Он говорил: не убивай других людей. Я записывал: не убий. Два слова быют вернее четырёх, повеление весомее довода, а довод вдобавок приглашает поспорить, и всякий, кто хоть раз видел спорящую толпу, во второй раз рассуждать не станет.

Он говорил: Бог создал мир. Я писал: в начале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою.

Первое — сообщение, сухое, как песок под ногами, и по нему проходят, не задерживаясь. Второе — музыка, а её человек несёт с собой, сам не зная зачем, и повторяет через тысячу лет, не разбирая половины слов, за одно то, что хорошо ложится на язык. Я это знал уже тогда и, каюсь, гордился.

* * *

На двадцатый день рядом хрустнул песок, и Шимон опустился на корточки — он один и приходил смотреть, как я пишу.

Ему не было и трёхсот, по нашим меркам он ходил в мальчишках и вопросов у него было столько, сколько бывает у человека, ещё верящего, что на них отвечают. Садился, подпирал подбородок кулаком и следил за стилосом не мигая, как дети следят за фокусником — не понимая трюка, но твёрдо зная, что при них что-то происходит, и не желая пропустить.

— Что сегодня?

— Женщина. Не решу, откуда её взять.

— А откуда берутся женщины?

— Из р-ребра или из глины. Ребро ближе — часть мужчины, плоть от плоти. Глина честнее, тот же материал, поровну.

Он подобрал камешек и стал перекачивать его между пальцами, а вокруг того места, где он обыкновенно садился, галька была обкатана до блеска, так что о числе его приходов можно было судить, не спрашивая.

— Из ребра, — сказал он. — Люди любят, когда больно. Когда за что-то заплачено.

Триста лет от роду. Мне понадобилось пять веков, чтобы дойти до того же самого, и я сидел и слушал, как мальчик за одну минуту выговаривает то, что я выкапывал полтысячелетия, и это, пожалуй, было единственное по-настоящему страшное, что случилось со мной за весь тот месяц.

— Из ребра, — согласился я и вдавил стилос в глину, и борозда вышла глубокая, и рука не дрогнула, о чём я после жалел.

Солнце сползало за холмы, тени легли рваными полосами, снизу от лагеря потянуло дымом и варёной чечевицей, и кто-то там внизу бранился из-за котла — долго, со вкусом, и слов было не разобрать, а голос звучал так, как звучит он у всякой хозяйки во всяком веке.

— Мойша, — сказал он, когда молчать сделалось неудобно. — Зачем ты это пишешь?

— Если не запишу я, запишет другой. Хуже.

— Нет, я не про то. — Он бросил камешек в темноту, и тот щёлкнул о скалу. — Зачем вообще. Вот это всё. — Он обвёл рукой таблички, лагерь, пустыню и первые звёзды. — Для чего?

Стилос я отложил. Глина подсыхала коркой, и, не dokonчив до ночи, пришлось бы размачивать её заново, чего я терпеть не мог, — зато имел от этого законный повод остановиться и подумать.

— Знал бы — не п-пришлось бы писать книгу.

Он кивнул, и кивок этот означал не согласие, а то, что сказанное убрано на дальнюю полку, до которой он ещё когда-нибудь дотянется, — этому у него стоило бы поучиться, я так не умею, я всё пробую на зуб немедленно. Потом обхватил колени, и мы молчали, пока небо не почернело.

— Колодец на южной стороне осыпается, — сказал он, не поворачивая головы. — Третий день. Стенка разошлась, камни ползут в воду. Укрепить бы, пока не завалило.

— Так у-укрепи.

— Завтра, — сказал он и потянулся, хрустнув плечами. — Сегодня хочу дослушать.

* * *

На сороковой день я сошёл вниз, и высота, с которой я сходил, была невелика.

Холм, если по совести, — четверть часа подъёма с одной остановкой отдышаться, — а в табличках у меня стоит «гора», и стоит она там потому, что звучит значительнее. Там же сказано, что я провёл наверху сорок дней в посте, тогда как всякий вечер возвращался поесть горячего и выспаться под крышей. И сказано, что скрижали получены в громе и молниях, тогда как вырезал их Шимон, — моя рука приучена к тростинке, а не к резцу, у него же довольно и терпения, и силы в запястьях. Имени его в той истории нет, и он ни разу об этом не спросил.

Меня ждали, и все головы повернулись разом, и в глазах стояло то самое голодное ожидание, какое я видел у костра сорок дней назад. Тогда мне от него сделалось не по себе. Теперь не сделалось ничего, и вот к этому я привык скорее, чем следовало.

— Что там? — спросил старик из первого ряда, у которого внук умер на третий день пути от лихорадки.

— Закон.

— Чей?

— Б-божий.

— А кто такой Бог?

Ответа у меня не было, вернее, их было столько, что не годился ни один: выдумка Гершона, брошенная у костра на ходу, моя редакция, обратившая её в поэзию, и общая надежда сорока усталых людей, которые идут неизвестно куда и хотят знать зачем, — и всё это я мог бы изложить старику подробно и по порядку, и он стоял бы и слушал до конца, потому что мальчика схоронили на третий день пути, а взамен ему не предложили ничего.

— Бог, — сказал я, и голос почти не дрогнул, — это т-тот, кто отвечает, когда ты спрашиваешь «зачем».

Они не поняли — это было видно по сдвинутым бровям, по приоткрытым ртам, по тому, как переглянулись двое во втором ряду. Но таблички взяли, унесли в шатры и пересказывали детям, а дети своим детям, и разумения тут никогда и не требовалось. Требовалась вера, а она растёт как раз из тёмного места, — ясное человек проверяет, а тёмное бережёт.

* * *

Про мальчика я вспоминаю до сих пор, и чаще, чем прилично в моём возрасте.

Про того, что лежал в корзине в тростниках, пока вода несла его к чужому берегу. Которого нашла дочь фараона и вырастила как своего. Который ходил по дворцу в золотых сандалиях и до тридцати лет не знал, что он раб. Который узнал, взбунтовался, вывел народ из рабства, сорок лет водил его по пустыне и умер на пороге обещанной земли, не ступив на неё, — этот последний поворот пришёл мне под утро, на исходе работы, и, помню, я сам расстроился, а переделывать не стал: так выходило лучше.

Его не было вовсе. Он сложился у меня на том холме, слово за словом, из ничего, из тростника и глины. А теперь миллионы верят, что он был и что он — это я. Мойше Рабейну. Наш учитель. Величайший из пророков. Тот, с кем говорили лицом к лицу.

Про горящий куст я тоже написал сам, и про то, как спорил, отказывался, ссылаясь на заикание, и как меня всё-таки убедили, и я пошёл. Хорошая вышла история, и за работой я в

неё почти поверил, а к концу заметил за собой, что подбираю доводы поубедительнее — вроде как для самого себя, задним числом, чтобы было не так стыдно.

Две тысячи лет — срок долгий даже для нас, и граница между тем, что было, и тем, что я написал, стёрлась, как стираются на песке следы, и теперь я иной раз обнаруживаю, что помню этот куст: жар на лице, треск ветвей и запах горелого можжевельника. Ничего этого не было. Помню отчётливо.

Писать легко. Отвечать за написанное — невозможно, и никто из нас за три тысячи лет не придумал, как это делается.

Когда-нибудь я напишу ещё три страницы — короткие, без музыки, без единого заикания, — положу их Гершону на стол, пока его нет в комнате, и уйду в ту же ночь, и он поймёт всё, едва взглянув на первую строку, и не станет догонять. Но до этого оставалось две тысячи лет, и в тот вечер я думал не о них, а о том, что глина подсыхает и надо успеть до темноты.

Колодец на южной стороне к тому времени осыпался окончательно. Шимон его так и не укрепил.

Документ 2

Заявление о приёме на работу

Комитет по делам вечности

Кандидат: [имя удалено по соображениям конфиденциальности]

Дата: неизвестна (документ повреждён)

Анкета кандидата:

1. **Имя:** [удалено]

2. **Возраст:** Не помню. Примерно 200 лет. Или 300. Сбился со счёта.

3. **Место рождения:** Где-то в Европе. Деревня. Названия не было — просто «деревня».

4. **Образование:** Монастырская школа. Латынь, греческий, богословие. Потом — самообразование. Много самообразования.

5. **Опыт работы:**

— Монах (50 лет)

— Переписчик (100 лет)

— Библиотекарь (100 лет)

— Безработный (последние 30 лет — не мог найти место, где бы не задавали вопросов о возрасте)

6. **Особые навыки:**

— Чтение на 14 языках (живых и мёртвых)

— Каллиграфия

— Умение молчать часами

— Цитирование Экклезиаста к месту и не к месту

7. **Почему хотите присоединиться к Комитету:** Устал быть один. Устал притворяться смертным. Устал объяснять, почему выгляжу так же, как пятьдесят лет назад. Хочу быть среди своих. Хочу говорить правду — хотя бы с кем-то. Хочу знать, что не схожу с ума.

8. **Что можете предложить Комитету:** Книги. Много книг. Прочитал все — могу пересказать. Или процитировать. Или объяснить. Также — терпение. Двести лет (или триста) научили ждать. Могу ждать вечно. Буквально.

9. **Готовы ли хранить тайну:** Двести лет (или триста) храню тайну о себе. Справлюсь.

10. **Дополнительная информация:** Как сказал Экклезиаст: «Всё суета сует и томление духа». Но даже суета — лучше одиночества.

Резолюция Г.А. Штейнберга:

«Принять. Человек, который двести лет читал книги и цитирует Экклезиаста, — наш человек.

Р.С. Пусть возьмёт на себя архив. Там бардак. Надо разобрать.»

Приписка (другим почерком):

Архив разобрал. За восемьсот лет. Всё ещё разбираю.

Ступенька — не моя ответственность. Но шатается. Проверял.

Л.Б. Штерн

Глава четвёртая

31 декабря, 9:00 — 11:00. Архив

Дача Григория Ароновича стояла в глубине участка — старая, деревянная, с покосившимся крыльцом, облупившейся краской и провисшей крышей. Из трубы шёл дым — топили.

Я выключил зажигание, и настала загородная тишина, особенная, — снег съедает все звуки, и остаются птицы да скрип шагов под ногами.

— Красиво, — сказал Арик.

— Холодно, — поправил я. — Внутри ещё холоднее, Григорий Аронович на отоплении экономит.

— Зачем?

— По привычке. Рос он в бедности и очень давно, с тех пор бережёт каждую копейку и не жалеет денег на одно — на чай. Чай у него хороший.

К крыльцу мы не пошли. Я свернул за угол, к разросшейся сирени, за которой в земле пряталась железная дверь, неприметная и рыжая от ржавчины, — кто не знает, пройдёт мимо.

— Это что? — спросил Арик.

— Вход.

— А крыльцо?

— Крыльцо для гостей. Мы не гости.

Дверь поддалась со скрипом, и вниз повела каменная лестница — узкая, стёртая посередине тысячами подошв, старая не по-советски и не по-царски даже, а куда старше.

— Дача же тридцать восьмого года, — сказал Арик.

— Дача — да. Подвал старше на шестьсот лет, монастырский. Монастырь сожгли при каком-то набеге, а подвал уцелел и стоит целёхонек — своды в рост, ходы под всей землёй, конца не видно. Мы его отыскивали, оценили и прикрыли. Когда в тридцатых нарезали участки под писателей, Григорий Аронович подсуетился, и дача встала точно над входом.

— Совпадение?

— За три тысячи лет у нас не случилось ни одного совпадения. Только расчёт.

Спускаться начали в темноте, и на третьей ступеньке Арик качнулся и схватился за стену.

— Шатается.

— Семьсот лет, — подтвердил я.

— И никто за семьсот лет не собрался?

— Один наш предшественник — имён не называю, но рифмуется с «Авраам» — рассудил, что чинить недосуг, — татары под стенами, архив прятать надо, не до ступеньки. Татары ушли, ступенька осталась. Теперь это вроде обряда —ходишь, перешагиваешь, стало быть, свой.

Арик поглядел на меня долго, и в глазах его стояло не то удивление, не то догадка.

— Вот, — сказал он. — Этим всё и объясняется.

— Что именно?

— Почему вы проигрываете Маску. — Он перешагнул ступеньку. — Тот бы прибил её в первый день, а не сочинял бы из неё обряд.

Крыть было нечем, и я промолчал.

* * *

Внизу лестница вывела в сводчатый зал, и Арик замер на пороге.

Пахнуло сразу всем: холодным камнем, воском, пылью, старой кожей переплётков и улежавшимся временем, у которого свой отдельный запах. Вдоль стен от пола до свода тянулись полки — деревянные, железные, каменные, разной работы и разных веков, и на них лежало, стояло, теснилось всё, что человечество успело записать: глиняные таблички, свитки в футля-

рах, кодексы в досках, папки, коробки картонные и жестяные, и опять таблички, которым конца не видно. Под сводом на витом старом шнуре горел тусклый огонёк, а между двумя стеллажами, за столом с зелёной лампой, склонился над книгой человек.

Он не поднял головы, когда мы вошли. Дочитал строку, заложил страницу сухим листом, снял очки, протёр их платком, надел снова — и только тогда посмотрел.

— Лёня, — сказал я. — Это Арик. Внук.

— Вижу, что внук. — Лёня осмотрел его без спешки, как осматривают титульный лист незнакомого фолианта. — Похож. Только глаза у тебя пока не выцвели от чтения, это поправимо.

— А это Лёня, — сказал я Арику. — Леонид Борисович. Держит весь этот бумажный океан в голове и разбирает его восемьсот лет.

— И всё ещё разбираю, — уточнил Лёня. — Дошёл до седьмого века. Тружусь неспешно и без надежды кончить, что придаёт делу приятную основательность.

Арик обвёл взглядом полки.

— Вы всё это читали?

— Всё. — Лёня сказал это без гордости, устало. — И знаешь, к чему приходишь, прочитав всё, что человек написал с тех пор, как выучился писать? Что сказано уже всё, записано всё и забыто тоже всё, ибо люди написанного не читают, оттого и повторяют, слово в слово, ошибки, разобранные задолго до них. Как сказал Экклезиаст: «Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после».

Арик снял с полки крайний свиток, тёмный, ломкий, и повертел в руках.

Лёня стоял на площади в Берлине в мае 1933 года, когда жгли книги. Прямо перед ним белобрысый студент лет девятнадцати, с прыщом на подбородке и восторженными глазами, подбрасывал в костёр том за томом, а перед броском задерживал каждый в руке и громко читал с обложки имя, и всякий раз облизывал губы, будто пробовал слово на вкус, прежде чем скормить огню. Пепел садился студенту на воротник, тот смахивал его, не отрываясь от дела. Лёня аплодировал вместе со всеми, — не хлопать было опасно, — и глазами провожал каждую обложку, запоминая, что горит, чтобы после восстановить по памяти. Когда площадь опустела, он один остался у чёрной груды, ворошил носком ботинка тёплую золу и беззвучно шевелил губами.

— Положи на место, — сказал Лёня, не повышая голоса. — Он старше твоей страны.

Арик осторожно вернул свиток на полку и вытер пальцы о джинсы.

Я повёл его вдоль стеллажей. Здесь было на что посмотреть, а мальчику полезно увидеть своими глазами, что дед не выжил из ума.

— Это, — Арик прочитал надпись на корешке папки, — «Александр. Македония. Личная переписка»?

— Мы советовали его отцу, потом ему, потом его генералам.

— И о чём он писал?

— Больше всего жаловался. В Индии слишком жарко, в Персии слишком пыльно, в Египте слишком много мух. Покоритель мира, а письма как у дачника, которому испортили отпуск.

Арик фыркнул — коротко, одним выдохом, и тут же осёкся, будто смеяться при мне ему не полагается. Мне это было не в тягость, наоборот, хорошо, что он ещё умеет.

— Александр Македонский жаловался на мух?

— Все жалуются, великие — особенно. — Я кивнул на соседнюю полку, где стопкой лежали пожелтевшие письма, перевязанные шнурком. — Вон там Наполеон. Пятьсот писем оставил, и всё об одном: мясо пережарено, суп остыл, а где, спрашивается, мой камамбер? Перед Ватерлоо денщик не нашёл ему камамбера, и он хмурился весь день. Историки пишут — проиграл из-за просчётов. Я думаю — из-за сыра.

— Ты шутишь.

— О сыре я не шучу никогда.

Дальше, на нижней доске, лежали глиняные таблички — потрескавшиеся, жёлто-коричневые, тёплые даже на вид. Арик присел и взял одну, осторожно, двумя руками, как берут младенца.

— А это что?

— Шумер, четыре тысячи лет. Рецепт пива.

— Пива?

— Первое, что человек записал, едва научился, — рецепт пива и долговая расписка. Это про людей говорит больше, чем всё, что Лёня прочёл за восемьсот лет.

Лёня за спиной хмыкнул и ничего не сказал.

— А вот эта? — Арик протянул другую, помельче, с мелкими значками, вдавленными в глину чьими-то давно истлевшими пальцами.

— Жалоба. Покупатель недоволен качеством меди, пишет поставщику, что тот его надул, и грозит судом.

— Четыре тысячи лет назад?

— Первый недовольный отзыв в истории. — Я усмехнулся. — Люди жалуются, обманывают, судятся, а мы-то воображали, будто вертим историей. Она течёт сама, а мы бежим следом и подбираем слова.

Арик вернул таблички на место, бережно, и обвёл взглядом свод.

— И всё это настоящее?

— Каждая расписка. Библиотеку Грозного ищут пятьсот лет, письма Александра — две тысячи, а вон тот свиток, в футляре, — все три.

— Что за свиток?

— Черновик. С правками. — В деревянном футляре темнел от времени пожелтевший столбец. — Тора, если по-твоему. Мойша написал её, перечитал, вычеркнул половину, дописал, снова вычеркнул. Семь раз переделывал, прежде чем решился показать людям.

— Тора? Какой Мойша?

— Моисей. Мойше Рабейну, учитель наш, а между собой мы звали его попросту Мойшей. Заикался, робел на людях, речей боялся до дрожи — а написал про бога так, что три тысячи лет читают и плачут.

— Про бога, которого сам придумал?

— Про того, которого придумали мы все. — Я пожал плечами. — Мойша только записал, и записал красивее, чем сумел бы любой из нас.

Арик стоял посреди подвала, медленно поворачивал голову — таблички, футляры, полки без конца, — с лицом человека, который зашёл в булочную, а очутился в Лувре.

— Идёмте наверх, — сказал я. — Остальные заждались, а Миша там уже, надо думать, подсчитал наши шансы и им не обрадовался.

— Миша всегда несчастен, — обронил Лёня, не отрываясь от строки. — Такова участь всякого, кто верит в цифры. Но сегодня, говорят, у него и повод под статью.

Документ 3

Политика Комитета в области Human Resources

Утверждено: приблизительно 500 год до н.э.

Последняя редакция: никогда (зачем?)

1. НАЁМ ПЕРСОНАЛА

1.1. Кандидат должен быть бессмертным. Это обязательное требование. Смертные не рассматриваются (высокая текучка, проблемы с onboarding каждые 70-80 лет).

1.2. Кандидат должен быть евреем. Это традиция. Не спрашивайте почему — так сложилось.

1.3. Кандидат должен уметь молчать. Минимум 500 лет без утечек информации. Рекомендуется тестовое задание: хранить секрет про ступеньку.

2. ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК

2.1. Испытательный срок составляет 100 (сто) лет.

2.2. В течение испытательного срока сотрудник не имеет права голоса на заседаниях, но обязан присутствовать.

2.3. По истечении испытательного срока проводится аттестация. За три тысячи лет аттестацию не прошёл только один сотрудник (М. Гринберг, 1848 г. — уволен по статье «идеологические разногласия»).

3. ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ

3.1. Хранить тайну.

3.2. Посещать заседания (минимум 1 раз в 50 лет, желательно чаще).

3.3. Не создавать новых религий без согласования с руководством.

3.4. Не обещать людям конкретных сроков (см. инцидент с М. Гринбергом).

3.5. Обходить третью ступеньку слева.

4. ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ

4.1. Бессмертие (предоставляется автоматически при найме).

4.2. Бесплатное проживание на даче в Переделкино.

4.3. Питание за счёт организации (Р.М. Гольдберг).

4.4. Библиотека (неограниченный доступ, Л.Б. Штерн — ответственный).

4.5. Корпоративный калькулятор (только для М.Я. Кацнельсона).

5. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ

5.1. Устное предупреждение — за опоздание на заседание (допуск: 50 лет).

5.2. Письменное предупреждение — за утечку информации.

5.3. Увольнение — за создание конкурирующей религии.

5.4. Смерть — не применяется (технически невозможно, юридически спорно).

6. ОТПУСК

6.1. Сотрудник имеет право на отпуск продолжительностью до 100 лет каждые 500 лет работы.

6.2. Отпуск не использовался ни разу за три тысячи лет. Причина: некуда идти.

Примечание архивиста:

Данный документ носит рекомендательный характер. На практике все решения принимаются Г.А. Штейнбергом единолично после чаепития.

Документ 4

Счёт на оплату

От: Мастерская Фидия, Афины

Кому: Храмовый комитет города Афины

Дата: 438 год до н.э.

Номер счёта: XLVII

За работы по созданию статуи Афины **Парфенос:**

Наименование

Количество

Цена (драхм)

Сумма

Золото (таланты)

44

6 000

264 000

Слоновая кость (локти)

150

200

30 000

Дерево для каркаса

1 комплект

5 000

5 000

Работа мастера (Фидий)

6 лет

3 000/год

18 000

Работа подмастерьев (12 чел.)

6 лет

500/год/чел.

36 000

Инструменты

1 комплект

2 000

2 000

Непредвиденные расходы

—

—

15 000

ИТОГО: 370 000 драхм

Примечание от Фидия:

Уважаемые члены комитета!

Обращаю ваше внимание, что первоначальная смета составляла 200 000 драхм. Перерасход связан с:

1. Изменением проекта по требованию заказчика (трижды)
2. Ростом цен на золото (война с Персией)
3. Болезнью трёх подмастерьев (чума, все выжили)
4. Кражей слоновой кости (виновные найдены, наказаны)

Прошу утвердить окончательный счёт и произвести оплату в течение 30 дней.

С уважением, Фидий

Резолюция (на полях, другим почерком):

«Оплатить. Но сказать Фидию, что в следующий раз — без перерасходов. И без краж.

Перикл»

Примечание архивиста Комитета (добавлено значительно позже):

Данный счёт был найден в архиве Александрийской библиотеки перед пожаром 48 г. до н.э. и эвакуирован вместе с другими ценными документами.

Статуя Афины Парфенос была уничтожена в V веке н.э. Золото — переплавлено. Слоновая кость — утрачена.

Счёт — сохранился.

Вывод: бюрократия переживает искусство. Всегда.

Приписка М.Я. Кацнельсона (2005 год):

370 000 драхм в пересчёте на современные деньги — примерно 15 миллионов долларов.

С учётом инфляции за 2 443 года — около 847 миллиардов.

Дорогая была статуя. И всё равно — украли.

Вывод: ничего не меняется. Никогда.

Александрия

Элиэзер. 48 год до нашей эры. Египет.

Горело сначала в гавани, и с крыши это было даже красиво — римляне подожгли свой же флот, чтобы не достался, и вода под смолёными бортами стояла оранжевая. Потом ветер зашёл с моря, и занялись портовые склады, где зерно и лён, и тогда закричали. Внизу побежали, улицу перекрыли телегами, и один голос всё звал какого-то Феона и не мог дозваться.

От складов до книгохранилища было триста шагов, и бежал я туда вместе со всеми и против всех — люди шли из города к воде, а я к огню, меня толкали, женщина с корзиной обругала последними словами, и эту брань я помню отчётливее, чем самый пожар.

В первом зале было ещё светло и почти тихо. Смотритель, лысый старик, которого я знал двадцать лет и всегда звал по имени, стоял посреди прохода и распоряжался — двое рабов таскали кувшины с водой из внутреннего двора и лили на стены, до полок было уже не подступиться. Кувшины были маленькие, столовые. Смотритель кричал, чтобы носили быстрее, и не понимал ещё, что такой посудой тушат разве что свечу.

Свитки лежали в футлярах, в нишах, каждый со своим ярлычком, подписанным мелко, а я близорук и всегда читал, поднося к самому лицу. От дыма глаза потекли сразу. Я хватал наугад, по ярлыку, по весу, по месту в стене, и складывал в подол, а он уже не держал, и я задираю его выше и подтыкал за пояс.

Кровля в третьем зале обвалилась разом, и стало ясно, что времени осталось на одну ходку.

Я стоял у ниши, где лежал Аристотель, и держал две вещи разом. В левой был свиток о смешном — вторая часть книги, из которой все знают одну только первую. В правой — Сапфо, девятый свиток, и я его читал всю зиму и знал наизусть половину.

Обе руки были заняты, и взять что-то третье я не мог. Про этот выбор я потом слышал много рассудительного от людей, которые в горящих залах не стояли, и всё было верно, а там не думают. Там рука сама разжимается, и одна вещь падает на пол, и ты уже бежишь, и только на воздухе понимаешь, какая именно.

Я бросил Аристотеля.

* * *

Гершон нашёл меня на рассвете, на песке за молом, где ветер относил дым в сторону моря. Я сидел, а вокруг лежали спасённые свитки, разложенные в ряд, и я пересчитывал их, будто от этого могло прибавиться. Сорок три. Ладони обгорели, пальцы вздулись и не разгибались, а последний свиток так и остался в горсти — папирус впечатался в кожу, и отнимать его пришлось вдвоём.

— Сколько? — спросил он.

— Сорок три.

Он сел рядом на песок, не глядя на меня, и долго смотрел в море. За молом ходили лодки, вылавливали, что всплыло, — доски, тюки, людей.

— Мало, — сказал я.

— Мало больше, чем ничего.

Я хотел ответить, что утешаться этим легко, когда сам не выбирал, но вместо того заплакал, и он меня не тронул и не сказал ни слова, пока я не перестал.

Потом он взял верхний свиток, развернул на ладони, посмотрел и положил обратно.

— Разберёшь после, — сказал он. — Не сегодня.

* * *

Разбирал я их через месяц, когда сошла кожа с ладоней и можно было держать.

Из сорока трёх одиннадцать оказались таможенными расписками — что пришло, чей корабль, сколько пошлины. Ещё семь были списками довольствия при храме. Один — жалобой на соседа, перегородившего сток. Я хватал по ярлыкам, а писал их в том отделении один и тот же писец, одинаковым мелким почерком, и в дыму они все были на одно лицо.

Двадцать четыре стоили обожжённых рук.

Ни строчки Сапфо среди них не было. Свиток я до мола не донёс, а где обронил — не помню.

Руки у меня зажили без следа, у нас всё зарастает. А привычка осталась. Я до сих пор не могу положить книгу на стол и убрать ладонь — так и читаю, накрыв её сверху, как придерживают за плечо человека, который однажды уже падал.

Глава пятая

31 декабря, 11:00 — 12:00. Стол

Дверь наверху отворилась раньше, чем мы одолели лестницу, и на пороге стоял Григорий Аронович — маленький, сухой, в неизменной своей серой кофте, с лицом человека, который не спал ночь и не собирался спать ещё долго.

— Семён. Привёл?

— Привёл.

— Молодой?

— Двадцать восемь.

— Совсем молодой. — Он поглядел на Арика. — Я в двадцать восемь ещё верил, что мир можно поправить к лучшему.

— А потом? — спросил Арик.

— А потом попробовал. — Григорий Аронович посторонился от двери. — Заходите. Все на нервах, Миша впереди прочих.

Гостиная встретила нас тёплым сумраком и запахом старой бумаги, воска и чего-то травяного, не разобрать какого, — Григорий Аронович заваривал своё и рецепта не выдавал. Обстановка тут не покупалась, а собиралась веками. В углу стоял ореховый секретер с бронзой, какие делали при Александре, а на нём — лаковая шкатулка, за которую любой музей отдал бы крыло. Кресло, в котором сидел старик, помнило не одну столицу, кожа на подлокотниках вытерлась до блеска, и менять её не собирались — эту вещь знали в лицо. На стене темнела доска в тёсаной раме, из тех, перед которыми молились деды, и стояла она дороже всей улицы, а висела так, будто ей тут и место. Здесь ничего не заводили для виду и ничем не хвастали. Просто всё, что человек за три тысячи лет счёл достойным сохранить, рано или поздно оседало в этой комнате, и холод её был не от бедности, а оттого лишь, что Григорий Аронович не любил зря топить.

За столом сидели трое, и четвёртый стул стоял пустой — Жанна летела над океаном и обещала быть к полудню.

Ближе всех — человек в костюме и при галстукe, с механическим калькулятором в руках, старым, с рычажком. Он гонял костяшки, губы шевелились, лоб блестел от испарины.

Однажды он вот так же сидел за расчётами — в Токио, шестого августа сорок пятого года, прикидывал, за сколько по окончании войны скупить японскую землю, земля вечна, что ей война, — и карандаш бежал по строчкам, когда в восемь шестнадцать утра небо за окном не вспыхнуло, а побелело, спокойно, как пролитое молоко, и грифель выпал у него из пальцев. На стене за спиной отпечаталась тень его руки, резкая, словно выжженная. Позже пришли цифры: сто тысяч сразу и столько же потом, от ожогов и от того, чему тогда ещё не подобрали названия. Домой он вернулся через месяц, сел за стол и с тех пор считает быстрее прежнего, будто куда-то опаздывает. Я его не упрекаю. Каждый из нас после сорок пятого завёл себе привычку, о которой вслух не говорит, и Мишина, если разобраться, из самых безобидных.

— Семён! — Миша вскочил, калькулятор выпорхнул из рук, он поймал его у самого пола. — Ты видел? Ты слышал?

— Видел. Слышал.

— Это конец! Он знает! Всё знает! Откуда он знает?

— Ни от кого, — сказал Лёня, входя следом за нами. — Про нас знают шестеро. Шестеро сидят в этой комнате.

— Вот именно! — Миша повернулся к нему. — Вот именно! Источника нет, а утечка есть! Так не бывает!

— Не бывает, — согласился Лёня и открыл книгу.

— Миша. — Роза не подняла глаз от вязания. — Сядь. Дай людям войти.

Она сидела в углу дивана со спицами, разматывая бесконечное вязанье цвета пыльной шерсти, и рядом, на выступе стены, стоял глиняный горшок с чесноком, бурый, с трещиной, заклеенной по-хозяйски.

Сто лет назад, на кухне при голливудской студии, перед ней сидел тощий паренёк в перешитом отцовском пиджаке и хлебал суп — торопливо, обжигаясь, придерживая миску локтем, будто кто-то мог отнять. Она отрезала ему ещё хлеба, пододвинула и села напротив, сложив руки на переднике, и, ни о чём не спрашивая, смотрела, как он ест, и морщинки у её глаз мало-помалу разглаживались. Много лет спустя он снимал картины, которые крутили по всему свету, а всё равно приезжал к ней и всё так же горбился над миской, как в тот первый вечер.

— Как я могу сидеть? — Миша всё-таки сел. — Как сидеть, когда всё летит в пропасть?

— Три тысячи лет летит, — обронил Лёня, не отрываясь от строки. — Всякий раз кажется, будто впервые.

— Это другое!

— Всякий раз другое, а после — то же самое.

— Мальчик потерялся, — сказала Роза, кивнув на Арика. — Налей ему чаю.

— Нет времени на чай! — Миша снова подскочил. — Сутки! У нас сутки, и он всё выложит!

— Миша. — Голос Григория Ароновича был тих, но все смолкли. — Сядь. Помолчи. Подумай.

Миша опустил на место и затих, а думал ли — бог вещь, но вскакивать перестал, и это уже был успех.

* * *

Григорий Аронович подошёл к Арику и посмотрел снизу вверх — тот был на голову выше.

— Стало быть, — сказал старик, — ты и есть тот, кто растолкует нам новый свет?

— Я тот, кого дед выдернул из постели ни свет ни заря и притащил сюда, — отозвался Арик. — А растолковать — это уж как выйдет.

— Скептик. — Григорий Аронович одобрительно кивнул. — Хорошо. Скептики нам нужны, верующих и без того перебор.

— Вы же сами веру и производите.

— Производим, да не потребляем. Сапожник без сапог. — Он повернулся ко мне. — Семён, покажи.

Я достал телефон, нашёл запись и положил её перед Ариком экраном вверх. На застывшем кадре стояло лицо, знакомое теперь всему свету.

Арик взял телефон и нажал.

* * *

Маск говорил спокойно, почти весело, как человек, который припас хорошую шутку и заранее знает, что все засмеются.

«...тысячи лет человечеством управляла горстка людей. Они сочинили религии, идеологии, верования — всё, чтобы держать нас в потёмках. Я знаю, кто они. Знаю, где они. И первого января — завтра — расскажу всему миру. Будет, — пауза, улыбка, — интересно».

Запись оборвалась.

Арик положил телефон на стол и обвёл нас взглядом — по очереди: Миша с калькулятором, Лёня с книгой, Роза со спицами, Григорий Аронович с лицом, не выражавшим ничего.

— Он знает.

— Да.

— И расскажет.

— Да.

— Завтра.

— Да.

— И что вы намерены делать?

Тишина легла тяжело, и холодильник на кухне загудел громче, чем ему полагалось.

— Для этого мы тебя и позвали, — сказал Григорий Аронович. — Чтобы ты сказал нам, что делать.

— Я? Вам? Вы же три тысячи лет...

— Три тысячи лет мы делали одно и то же, а теперь оно не работает, и мы не поймём отчего. — Старик опустился на стул тяжело, будто ноги отказали. — Ты родился в этом мире и знаешь, как он устроен. А мы отстали, и отстали крепко.

— Ступенька, — сказал Арик.

— Что?

— Ступенька у вас шатается семьсот лет, и вы её не чините, оттого что все привыкли. — Он обвёл взглядом комнату. — Вот и вся ваша беда. Сломанное вы не чините, вы к нему приспособливаетесь. А он, — кивок на телефон, — чинит. Сразу. Позволения не спрашивает.

Стало так тихо, что слышно было, как на стене тикают ходики, ровесники серванта.

— Мальчик умный, — сказала Роза.

— Мальчик дерзкий, — сказал Миша.

— Мальчик прав, — сказал Лёня и закрыл книгу, что случилось так редко, что все повернулись к нему. — Ступенька шатается седьмой век, и седьмой век мы её откладываем. Это не мудрость. Это трусость, а чем кончается трусость, я читал во всех книгах, и кончается она везде одинаково.

Григорий Аронович долго изучал Арика, как изучают того, кого звали много лет и уже перестали надеяться, — и вдруг дрогнул одним углом рта, что у него сходило за широкую улыбку.

— Садись, — сказал он. — Выпей чаю. Послушай. А потом научи нас чинить ступеньку.

Падение Храма

Шимон. 70 год нашей эры. Иерусалим.

С Масличной горы город лежал как на ладони, и досмотреть пришлось всё, от начала и до конца.

Кедровые балки, привезённые из Ливана ещё при Ироде, отдавали смолой, и тянуло от них сладким, праздничным, как от хорошего костра в морозную ночь. Ниже горело масло из светильников и давало чёрный жирный дым, а ещё ниже, где склады, занялось зерно, и оттуда несло печёным. Я стоял и слышал, как у меня подводит живот, и стыднее этого со мной там ничего не приключилось.

Легион работал внизу без спешки, и было солдат столько, что склон под стеной шевелился, а шлемы на солнце шли волной, как чешуя. Они не громили, а разбирали — цепляли крюком, налегали втроём, ждали, пока камень сойдёт с постели, отступали, брались за следующий. К полудню двое сели в тени поперечной стены закусить, и один тряс из мешка крошки в ладонь, а второй показывал ему что-то на пальцах и смеялся.

Кричали внизу по-разному — мужчины коротко и зло, женщины длинно, на одной ноте. Дети не кричали вовсе. Дошло это до меня не сразу, а когда дошло, я перестал слышать остальное.

Гершон стоял рядом и с самого рассвета не двигался.

— Мы могли, — сказал я.

— Могли.

— И?

— И не стали.

Я шагнул вниз, и он поймал меня за локоть. Держал несильно, но вырваться было бесполезно, и я остался стоять, а под пальцами у меня оказалась ветка розмарина, и я обрывал с неё листья, пока не осталась голая палка.

— У нас Тит, — сказал я. — У нас деньги в Риме. Три недели — и он снял бы осаду.

— И через три недели они полезли бы на копья сами. — Гершон смотрел вниз, а не на меня. — Чтобы они разошлись по домам, надо им сказать, что умирать не за что, что наверху пусто и что всё это сочинили в пустыне за одну ночь, лишь бы не помер один человек. — Он наконец обернулся. — Иди скажи. Я подожду здесь.

Внизу в проломе бились zeloty, оставалось их совсем немного, и дрались они, поглядывая вверх.

Я не пошёл.

* * *

К утру всё кончилось, и мы спустились в город.

Улицы были не пустые, и это оказалось хуже пустых. Ходили чужие, брали что осталось, переговаривались буднично, как на разгрузке. Женщина сидела на пороге и перебирала обгорелые доски, одну за другой, складывала обратно тем же порядком, а после начинала сначала. Собака волокла что-то через площадь и оглядывалась. Пахло гарью, и поверх стоял медный дух, ни с чем не сравнимый и потом неделями не выветривающийся из платья.

Пекаря я нашёл у его лавки на углу. Двадцать лет я брал у него хлеб, и все двадцать лет он кричал мне в спину одно и то же — «горячий, бери, потом не будет», — и голос имел такой, что покрывал весь ряд. Он лежал у порога, и в кулаке была лепёшка, целая, не смятая. Первую, стало быть, успел вынести — и воротился за второй.

— Сколько? — спросил я.

— Тысячи, — сказал Гершон. — Считать будут после и посчитают неверно.

От Храма уцелела одна стена, западная, и стояла она себе, будто ничего не случилось. Камень у основания был ещё тёплый. Я присел, поднял с земли обломок с ноготь величиной, обкатал в пальцах и не бросил.

Гершон поглядел на мою руку и промолчал.

Ушли мы в ту же ночь, дорогой на Яффу, и до самого рассвета не сказали друг другу ни слова, а я всё время перекатывал обломок в кармане — рукам надо было чем-то заняться, а больше нечем.

Падение Рима

Симеон. 476 год. Рим.

Рим в тот вечер был медный и красный, как монета, которую бросили на стол и забыли поднять, и с Капитолия это было видно всё разом.

Колизей отбрасывал тень через весь Форум, акведуки уходили к горизонту тонкими нитями, мрамор розовел. Тысяча лет камня, воды и податей. Вечное, если смотреть с холма и не оборачиваться.

А обернуться было куда. У ворот стояли скирры, и через несколько дней мальчик, не доживший до шестнадцати, отдаст им корону.

Полагалось бы чувствовать что-нибудь. Пять веков я прожил под этой империей, говорил на её языке, ходил по её дорогам и мылся в её банях. Бани были хорошие, и о них, пожалуй, я одних и жалел всерьёз. А стоял и не чувствовал ничего, кроме ветра с Тибра, а ветер отдавал илом и рыбой.

Внизу тем временем шла обычная жизнь. У подножия холма продавали уголь, и торговка бранилась с носильщиком из-за просыпанной корзины, и ругань была та же, что и при Траяне, слово в слово. Мальчишки гоняли собаку между колоннами. У храма писец с доской на коленях выводил кому-то прошение, и прошение это, надо думать, уже никуда не годилось, но он писал и брал за работу вперёд.

* * *

Гершон прислал голубя, и тот прилетел мокрый, потрёпанный и злой, будто весь путь из Палестины шёл против ветра.

«Симеон. Рим падает. Что дальше?»

Ответил я на обороте того же пергамента, чистый стоил дорого, а привычка беречь на письме сидела во мне уже тогда, задолго до Миши. Дальше хаос, писал я, варвары управлять не умеют, растащат на куски и передерутся, лет триста тёмных, переживём.

Голубь вернулся через две недели: «Триста лет — долго. Справимся ли?»

Отвечать я не стал. Голубь просидел на подоконнике три дня, дожидаясь пергамента, и улетел ни с чем.

* * *

Последнего императора звали Ромул Августул. Ромул — как основатель города. Августул — маленький Август, уменьшительное от великого имени. В одно прозвище уместилось всё — ребёнок на взрослом стуле, и ноги не достают до пола.

Я видел его накануне. Он сидел в дворцовом саду среди лавров, пахло зеленым и мокрой землёй, фонтан бил как ни в чём не бывало, а мальчик плакал беззвучно — так плачет тот, кто уже понял, что слёзы не помогут, а унять их не выходит.

Я сел рядом на скамью, нагретую за день.

— Цезарь. Всё будет хорошо.

Он поднял глаза, красные, с ресницами, слипшимися в стрелки.

— Ты обманываешь. Как все.

— Да, — сказал я. — Как все. Только иногда это единственное, что у человека есть.

Он отвернулся, и мы сидели молча, и вода всё была в чашу, и за стеной стояла армия, которой всё это было безразлично.

Одоакр его не тронул — отправил в Кампанию, на виллу, с содержанием. Мальчик прожил долго и умер в забвении, как все последние императоры. Через месяц после ссылки он потребовал к себе священника. Попросил утешения — того самого, чем мы к тому времени торговали пятое столетие, только звалось оно иначе.

* * *

Через год мы сошлись с Гершоном в Константинополе, в харчевне у пролива, где пахло жареной рыбой, и чайки орал не жалобно и не весело, а оттого лишь, что умеют.

— Что вынес из Рима? — спросил он.

— Что кончается всё.

— Кроме нас.

— Кроме нас.

— Привыкнешь, — сказал он и придвинул к себе блюдо. — Через тысячу лет привыкнешь.

Привык. А бани с тех пор стали хуже. Это я знаю точно.

Переезд

Симеон. 493 год. Константинополь.

Семнадцать лет я возил ящики морем, и если меня спросят, что такое вечность, отвечу честно — это опись имущества, которую заставляют переписывать дважды.

Началось с того, что Гершон велел составить список, что берём. Я составил, принёс, он прочёл и поднял на меня глаза: где вещи? Одни свитки. Я объяснил, как маленькому, что свитки мы и везём, а вещи — это вещи, комод с собой не потащишь. Он выслушал и сказал: свиток без вещи — сочинение, а вещь — доказательство, переделай. И я переделал. Спорить с человеком, который старше тебя на несколько царств, — занятие неблагоприятное, я это усвоил рано.

Во второй описи вышло четыреста восемьдесят два свитка, девять ящиков табличек, чернильница и медный обруч со сферой — тот самый, что потом семь веков пролежит в подвале под Москвой, пока я не сниму его с полки показать мальчику, за что жгли людей. Чернильницу Гершон в трюм не отдал, вёз на коленях, как больного ребёнка, и на качке придерживал ладонью.

* * *

Ходил я всякий раз сам, доверить это было некому, а возили мы по три-четыре ящика за рейс, не больше, — хозяин судна попался осторожный и лишнего в трюм не брал.

Звали его Каллист, грек, лицом похожий на печёное яблоко, брал недорого и в ящики не заглядывал, что я в людях всегда ценил. За семнадцать лет мы сделали девять рейсов, и на девятом он оглядел меня через стол и сказал, что я, должно быть, из тех счастливых, у кого в роду седеют поздно, а сам он в мои годы уже кашлял кровью. Ему было под шестьдесят. Мне по его счёту выходило сорок.

Я ответил, что мать была из горцев, а горцы народ двужильный. Он покивал, подлил вина и больше к этому не возвращался, а поверил он мне или просто рассудил, что в чужой род лезть незачем, я так и не понял и, признаться, не слишком старался понять.

На седьмом рейсе я потерял два ящика. И не в бурю — в тихую погоду, у самого берега, при разгрузке. Сходни поехали, носильщик оступися, и оба ящика ушли под воду на четыре сажени, беззвучно, будто их и не было. Нырjali двое суток. Достали один.

Во втором лежали афинские списки, семьдесят с лишним, и половина из них не переписана больше нигде — ни до, ни после, нигде на свете.

Каллист порывался вернуть мне плату за рейс. Я не взял, — не его вина, что море глубокое.

Что успел удержать в голове, я после два месяца выписывал по памяти. Вышло сорок страниц из семидесяти свитков, и был это не текст, а пересказ, то есть, по чести, ничто. Подшил и никому не показал.

Каллист умер на двенадцатом году, зимой, в своей постели, а до меня это дошло весной, когда я приехал договариваться о рейсе и застал в конторе его сына — вылитый отец, только шире в плечах, и назвал меня по имени раньше, чем я успел представиться.

— Отец говорил, вы не стареете, — сказал он.

— Отец говорил лишнее.

— Он и это говорил, — согласился сын и стал считать на пальцах, во что мне обойдётся палуба.

Последние два рейса я ходил с ним, и брал он вдвое против отца.

Внук в дело не пошёл — продал судно и завёл красильню. Про меня ему, надо думать, тоже рассказывали, но спрашивать он не стал, был из другой породы.

* * *

Город, в который мы перебирались, был моложе меня и держался соответственно.

В Риме к тому времени доживали. Улицы стояли пустые, акведук чинили в одном месте из трёх, а в термах, где я мылся четыреста лет, поселились люди с козами. Здесь же строили всё разом — стены, пристани, цистерны, храмы, — и стучало от рассвета до темноты, и на любой площади торговали мрамором, краденым оттуда, откуда мы только что съехали. Я смотрел на этот мрамор и вдруг узнал плиту. Не ошибся — она была из Рима, я по ней когда-то ходил.

Гершон снял дом у ипподрома, старой доброй кладки, с сухим подвалом, спустился, обстучал стены костяшками, послушал и кивнул сам себе.

— Здесь? — спросил я.

— Пока здесь.

«Пока» у него означает лет триста.

* * *

Главный разговор вышел на четвёртый год, за столом, над остывающими чашками.

— Рим кончился, — сказал я. — На что ставим теперь?

— На церковь.

Я едва не поперхнулся. Церковь, говорю, ещё вчера была сектой на задворках, её резали при Диоклетиане, а после она сама себя перегрызла в четырёх спорах подряд, я со счёта сбился, кто там кого проклинал.

— Резали, перегрызла, — кивнул Гершон. — А нынче ей кланяться ходят те самые, кто резал. Ты гляди не на вчерашнее, а на завтрашнее.

И загнул три пальца, и эти три пальца я в ту же ночь записал слово в слово, — понял, что важное.

Первое. Держава стоит на войске, войско надо кормить, а значит, всякая держава рано или поздно кончается на деньгах, и таких концов я навиделся.

Второе. Церковь стоит на приходе, приход кормит себя сам, и оттого она не кончается вовсе — только меняет державу над головой, как жилец меняет хозяина, а сам остаётся в доме.

На третьем он палец не загнул, а постучал им по столешнице. У церкви, говорит, есть то, чего нет ни у одного царя, — она берёт человека, едва тот родился, ведёт его до могилы, а у могилы обещает, что это ещё не конец. Ни один царь такого не посулит, ему нечем.

— Это надолго, — сказал он. — Это, Симеон, очень надолго.

Я спросил, на сколько.

— Пока не научатся обходиться без посредника, — сказал Гершон и допил чай.

* * *

Обходиться учились долго, полторы тысячи лет, и всё это время шли через нас.

Мы сидели при переписчиках, при соборах, при библиотеках, потом при типографиях, при академиях, при газетах, и всякий раз мне казалось, что вот теперь без нас обойдутся, и всякий раз выходило, что не обходятся, — кто-то же должен решать, какой из семнадцати списков верный. Полторы тысячи лет этим кем-то были мы.

А способ нашёлся при мне, и привезла его Жанна из Женевы одной короткой фразой: редактора у них нет и не предполагается.

Из четырёхсот восьмидесяти двух свитков до нынешнего дня дошло триста девять. Остальное съели сырость, мыши, два переезда и один хороший пожар.

Обруч со сферой цел. Чернильница цела, и Гершон ею до сих пор пишет, хотя перо в этом доме держат в руках трое, и я в их числе.

Документ 5

Выписка из протокола заседания Комитета по делам вечности

Дата: 14 **нисана**, год от сотворения мира 5765 (по григорианскому календарю — апрель 2005)

Место: дача в Переделкино, Московская область

Присутствовали: все, кому положено

Отсутствовали: все, кому не положено

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О необходимости подключения к сети «Интернет» (докладчик — Ж. Дюваль)
2. О расходах на отопление за зимний период (докладчик — М.Я. Кацнельсон)
3. О шатающейся ступеньке в подвале (докладчик — отсутствует, вопрос перенесён с 1347 года)
4. Разное

По первому вопросу:

Ж. Дюваль доложила о появлении новой формы коммуникации под названием «Интернет». По словам докладчика, данная сеть позволяет мгновенно передавать информацию между континентами, что может представлять как угрозу, так и возможность для деятельности Комитета.

М.Я. Кацнельсон: Сколько стоит?

Ж. Дюваль: Подключение — 500 рублей в месяц. Компьютер — около 30 000.

М.Я. Кацнельсон: Тридцать тысяч?! За ящик с проводами?! В 1887 году за такие деньги можно было купить имение в Подмоскovie! С крестьянами!

Л.Б. Штерн: Крестьян отменили в 1861 году.

М.Я. Кацнельсон: Вот! Вот с этого всё и началось!

Председатель Г.А. Штейнберг: Голосуем. Кто за подключение?

Голосовали: за — 2 (Ж. Дюваль, Л.Б. Штерн), против — 1 (М.Я. Кацнельсон), воздержались — 2 (Р.М. Гольдберг, С.И. Левинсон), председатель не голосовал.

РЕШЕНИЕ: Вопрос отложить до выяснения, не является ли «Интернет» очередной «электрической модой», как телеграф, телефон и телевизор.

Особое мнение М.Я. Кацнельсона: Записать в протокол: я был против. Когда эта ваша сеть развалится — вспомните.

По второму вопросу:

М.Я. Кацнельсон доложил о перерасходе средств на отопление. По его расчётам, за зиму 2004-2005 года израсходовано дров на сумму 12 400 рублей, что на 3,7% превышает показатели предыдущего года.

Р.М. Гольдберг: Миша, зима была холодная.

М.Я. Кацнельсон: Каждую зиму — холодная! Каждую зиму — перерасход! Где экономия?! Где планирование?!

С.И. Левинсон: Можно топить меньше.

М.Я. Кацнельсон: Можно! Нужно! Обязательно нужно!

Р.М. Гольдберг: Тогда замёрзнем.

М.Я. Кацнельсон: Надеть свитер!

Председатель Г.А. Штейнберг: У меня уже три свитера. И кофта.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению. Рекомендовать членам Комитета одеваться теплее.

По третьему вопросу:

Вопрос о шатающейся ступеньке перенесён на следующее заседание в связи с отсутствием докладчика.

Примечание секретаря: Докладчик по данному вопросу отсутствует с 1347 года, когда был назначен ответственным за ремонт. Предположительно, погиб во время эпидемии чумы. Или уехал. Никто не помнит.

Л.Б. Штерн: Как сказал Экклезиаст: «Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки». И ступенька тоже.

РЕШЕНИЕ: Перешагивать.

По четвёртому вопросу (Разное):

Р.М. Гольдберг предложила обсудить меню на Песах. Предложение принято единогласно. Обсуждали два часа. Решение не принято. Каждый готовит своё.

М.Я. Кацнельсон сообщил, что в подвале обнаружены мыши. Предложил завести кота.

Л.Б. Штерн: Кот — это ответственность.

М.Я. Кацнельсон: Мыши — это порча документов!

Председатель Г.А. Штейнберг: Голосуем.

Голосовали: за кота — 2, против кота — 2, воздержались — 1, председатель не голосовал.

РЕШЕНИЕ: Вопрос о коте отложить. Мышам — вынести предупреждение.

Заседание закрыто в 23:47.

Следующее заседание: когда понадобится.

Подпись председателя: (неразборчиво)

Подпись секретаря: Должность секретаря вакантна с 1918 года. Протокол вёл Л.Б. Штерн, который против того, чтобы его называли секретарём.

Примечание: Данный протокол является 4 892-м в истории Комитета. Предыдущие 4 891 хранятся в подвале, рядом с шатающейся ступенькой. Доступ затруднён.

Глава шестая

31 декабря, 12:00 — 13:00. Связь

Внизу хлопнула железная дверь, потянуло морозом и бензином, и по каменным ступеням дробно застучали каблуки — через одну, как носят срочную новость, боясь расплескать её по дороге. Так торопиться из нас умеет одна Жанна. Прочие отвыкли ещё в те века, когда было куда спешить, а она всё бежит, и раза три на моей памяти это спасало дело.

Жанна вошла не поздоровавшись, сдёргивая на ходу перчатки, в пальто, ещё хранившем уличный холод, и бросила на стол телефон экраном вверх, будто выложила козырь.

— Он не блефует, — сказала она вместо приветствия. — Я проверила, он...

Тут она осеклась, и было отчего — между Мишей и пустым стулом обнаружился посторонний, молодой, лет под тридцать, и смотрел на неё в упор. Перчатки остались зажатыми у неё в кулаке. Жанна обвела всех по очереди, проверяя, все ли на местах и не мерещится ли ей, и вернулась к гостю. За полтора года в нашем кругу никто не прибавлялся, и чужой за этим столом значил для неё примерно то же, что для вас — незнакомец, преспокойно сидящий посреди вашей запертой изнутри квартиры. Имени она спрашивать не стала, а перевела взгляд на Григория Ароновича и приподняла бровь — одним движением, вопрос без слов, свой ли и можно ли при нём.

— Внук Семёна, — сказал Григорий Аронович. — Арик. Он с утра здесь и знает всё, что знаем мы. Говори.

Жанна ещё секунду изучала Арика — как оценщик разглядывает камень, прикидывая, режет он стекло или крошится, — потом кивнула сама себе и отвернулась.

— Хорошо. Тогда слушайте.

— Садись, поешь сначала, — Роза уже двигала к ней тарелку. — С дороги, голодная.

— Потом, Роза.

— Не потом, а сейчас, остынет.

— Роза. — Жанна не повысила голоса, но тарелка осталась стоять. — Я не за супом летела через океан.

Двумя сутками раньше она сидела в стеклянном кафе под небоскрёбом в Остине, через дорогу от здания, на котором не висело вывески, а всё равно всякий знал, чьё оно. Напротив, катая в пальцах запотевший стакан с ледяным кофе, пристроилась девица лет двадцати пяти из его пресс-службы, с бейджем на шнурке, — Жанна когда-то вытащила её из некрасивой истории и с той поры ни разу об этом не обмолвилась. Взыскивать сразу она не любит. Чужая благодарность лежит у неё, как марка в классере, годами, до единственно верного часа, и вынуть её вовремя не научишься — с этим надо родиться.

В лоб она спрашивать не стала — сначала долго говорила о пустяках, о жаре, о пробках, о том, что город не тот, что был, — подливала ей воды и ждала. За стеклом по раскалённому асфальту гнали самокатчики, парень в фартуке сворачивал зонт над пустой террасой.

— Вымоталась? — спросила она, будто только заметив круги под глазами напротив.

— Не то слово. — Она отхлебнула. — С лета уже вот так. Уходим за полночь, приходим к рассвету.

— Запуск?

— Если бы запуск. — Она коротко хмыкнула. — С запуском хоть понятно, а тут полгода крутим по кругу одно и то же: тизеры, «сливы», которых никто не сливал, — и всё под одну дату.

— Первое января, — уронила Жанна между глотками, как роняют общеизвестное.

Она перестала наматывать на палец шнурок бейджа.

— Ты откуда знаешь?

— Да об этом уже воробьи на проводах чирикают, милая. — Жанна пожала плечами и придвинула ей блюдо с печеньем. — А что хоть готовите-то, под такую помпу?

— В том и дело, что не говорят. — Она понизила голос, хотя вокруг сидели незнакомые люди и никто в их сторону не смотрел. — Даже нам. Я режу ролики по чужому монтажному листу и половину не понимаю. Знаю только, что сам сидит на этом лично, каждый кадр смотрит.

— Лично, — повторила Жанна и подняла руку официанту. — Ну и бог с ним. Ещё по одному?

К десерту ей хватало, и она свернула разговор — чтобы той потом, вспоминая, и в голову не пришло, что её расспрашивали.

— Это не случайный вброс, — договорила она уже у нас в гостиной и щёлкнула ногтем по экрану. — Готовят с лета, полным ходом.

Арик подтянул экран к себе, поглядел на остановленную запись, потом на Жанну.

— Тогда это не разоблачение. Это кампания. Полгода подготовки, одна дата, дозированные сливы — правду так не открывают, а запускают продукт. Сперва намёк, потом слух, потом опровержение, чтобы все переругались, — а первого января залп по разогретой публике.

— Так и есть, — сказал Григорий Аронович тихо. — Это уже не крик. Это план.

— Мы в минусе! — Миша подскочил, калькулятор звякнул. — Я же говорил! Он это с июня готовил, а мы узнали вчера!

— Миша, сядь, — обронила Жанна, не глядя на него.

— Как я сяду, если...

— Сядь, ты сбиваешь.

Он сел, но пальцы забегали по клавишам сами собой, беззвучно считая то, что не считается.

Арик всё это время сидел подавшись вперёд и не сводил с Жанны глаз, и снисхождение к старикам, привезённое им из Москвы, сменилось узнаванием — с ним говорили на его языке. Я наблюдал за этим не без злорадства. Мальчик ехал сюда в уверенности, что застанет выживших из ума родственников, годных только на то, чтобы их жалеть и терпеть, а нашёл женщину, которая понимает в его деле больше него самого и вдобавок помнит времена, когда этого дела ещё не выдумали. Ничто так не молодит зажившегося на свете, как чужое запоздалое уважение.

— А что у него по цифрам? — спросил он. — Охваты, вовлечённость?

— Восемьдесят миллионов за сутки на одном ролике, — отозвалась она так же деловито, как он спросил. — Он не договаривает, люди досматривают до конца, репосты идут волной, и алгоритм поднимает его всё выше.

— Классический клиффхэнгер.

— Именно. Он продаёт не разоблачение, а ожидание разоблачения, и зритель платит вперёд, вниманием.

— И перебить это нельзя, — Арик не спрашивал, он додумывал вслух. — Если возразить, вы только добавите ему охвата.

— Наконец-то хоть кто-то понимает. — Жанна поглядела на него уже иначе. — Все остальные предлагают напечатать опровержение. В газете. — Она усмехнулась. — Как будто на дворе 1910 год.

— В газете, между прочим, выходило неплохо, — заметил Лёня, не отрываясь от книги.

— Тогда выходило, Лео. Сто лет назад. — Она снова повернулась к Григорию Ароновичу, и от лёгкости в голосе не осталось ничего. — Мы опаздываем, и не на день. Так устроен весь наш порядок — пока мы совещаемся, он уже в эфире. Мы пишем набело, веками, а он выкладывает черновик и чинит его на глазах у миллионов, и людям это милее нашей чистовой правды.

Стало слышно, как под пальцами у Миши щёлкают клавиши.

— И что ты предлагаешь? — спросил Григорий Аронович.

— Я? — Жанна наконец сняла пальто, повесила на спинку и села уже по-настоящему, надолго. — Я предлагаю бросить то, чем мы занимались три тысячи лет. Оно больше не работает, а взамен у нас ничего нет. — Она посмотрела на Арика. — Зато, кажется, умеет он.

Все повернулись к Арику.

— Говори, деточка, — сказала Роза, — только погромче, Лёня притворяется, что читает. Лёня перевернул страницу и не поднял головы.

* * *

Арик промотал ролик к началу и остановил на первом кадре — лицо, застывшее на полу-улыбке.

— Смотрите, где он стоит, — сказал он. — Не в студии. Дома, у окна, свет естественный. Рубашка мягкая. Это специально.

— Мягкая рубашка специально? — Миша перестал считать.

— Конечно. Студия, галстук, суфлёр — это «власть говорит сверху». А человек у окна в несвежем вороте — «свой делится тайной». Ему верят не потому, что он прав, а потому, что он как будто без грима.

— Мы тоже без грима, — заметил Григорий Аронович.

— Вы без лица, — сказала Жанна. — Это разные вещи. За всю вашу историю вас нет ни на одном снимке, и вы этим гордились. Теперь это выйдет вам боком — у него лицо, а на вашем месте дырка, и дырке никто не сочувствует.

Старик и бровью не повёл, только пальцы, сцепленные на столе, чуть сжались.

— Допустим. — Арик отложил телефон. — Он выходит первого января. У нас в запасе сутки, да и то на глазок. Репутацию за такой срок не строят, но площадку подготовить можно — чтобы, когда он ударит, ответ уже лежал заряженный.

— Какой ответ? — Лёня закрыл книгу совсем и отложил её. — Ты предлагаешь драться его оружием. Мы им не владеем.

— Она умеет, — Арик показал на Жанну.

— Я умею вчерашнее, — отозвалась Жанна. — Газеты, радио, телеграф — это я застала живьём. А то, что творится последние двадцать лет, я разбираю по косточкам, но нутром не слышу. Он слышит. — Она кивнула на Арика. — И ты.

— Значит, работаем вдвоём. — Вышло это само собой, буднично, будто иначе и не могло быть.

Спицы у Розы на секунду сбились с хода и пошли снова, и по одному этому я понял, что она подумала о том же, о чём и я. Мальчик, приехавший к чужим старикам на один вечер, только что, сам того не заметив, стал в доме своим. Вслух у нас про такое не говорят — за три тысячи лет так и не выработали слов, — и потому просто передвигают человеку тарелку, и он ест и ничего не понимает.

— Погодите. — Миша поднял ладонь, не выпуская из другой калькулятора. — Прежде чем вы вдвоём спасёте мир, назовите цену. Всё имеет цену. Что собираетесь потратить и откуда взять.

— Мишенька, — вздохнула Роза, — дай людям подумать.

— Я и даю. Считаю, пока они думают, это называется разделение труда. — Он щёлкнул рычажком. — Кампания в сетях стоит живых денег, много и сразу. Свечи, молитвы, взносы — этим не расплатишься. А наличных у нас в таком виде нет, всё лежит в земле, в бумагах и в вещах, которым по тысяче лет и которые до завтра не продать.

— Он прав, — сказала Жанна, и Миша от неожиданности моргнул. — Впервые за сто лет ты прав. Деньгами эту войну не вытянуть. Значит, воевать будем другим.

— Чем же? — спросил старик.

Жанна молчала дольше обычного, и взгляд её пошёл по комнате — шкаф из чужого века, потемневшая доска над ним, горшок с чесноком, книга под локтем у Лёни, калькулятор под рукой у Миши. Добро это проехало с нами сквозь тысячелетия и до последней ложки не годилось против человека с телефоном. Я это её выражение знал и прежде — так хозяйка большого дома, полного фамильного серебра, слушает, как в подпол пошла вода, и понимает, что серебром воду не вычерпать.

— Тем, чего у него нет, — сказала она наконец. — У него скорость, охват и живой человек в кадре. У нас — три тысячи лет, пройденные своими ногами. Не хроника и не архив, а память, которую он не купит ни за какие деньги. Мы при этом были, мы это и вели. Крикуны, обещавшие открыть людям глаза, находились и до него, не один десяток, и чем оно всякий раз кончалось, мы знаем наперёд. Он сочиняет заговор. А мы можем рассказать, как оно было, — и наконец показать лицо.

— Показать три тысячи лет за сутки, — медленно проговорил Григорий Аронович.

— Не все. Одну историю, но такую, чтобы после неё его мятая рубашка не стоила ничего.

Арик кивнул, придвинул к себе салфетку и стал на ней чертить — быстро, косо, через весь угол, — и впервые с порога этой дачи ему было по-настоящему интересно.

— Ешьте, — сказала Роза теперь уже всем сразу и поднялась за добавкой. — Историю рассказывают сытыми. Голодные только жалуются.

Крещение

Рахиль. 988 год. Киев.

Загонять в воду начали с утра, и к полудню на берегу выстроилась очередь, какая бывает за хлебом в недобрый год.

Дружинники держали цепь вдоль воды и покрикивали без злобы, буднично, как на переправе подгоняют скот. Люди раздевались тут же, складывали одежду кучками и входили в Днепр — по колено, по грудь, кто на что решался. Священники читали на языке, которого в толпе не понимал никто, и от этого, сколько я могу судить, дело шло только глаже — непонятное всегда убедительнее понятного. Кадила качались, ладан мешался с речным туманом, и всё это вышло бы даже торжественно, если бы не лица.

Стоял октябрь, а Днепр в октябре не ласков.

На холме рядом со мной стоял Гершон и смотрел вниз, как смотрит мастер, при котором его работу переделывают чужие руки и наспех.

— Это не то, — сказала я.

— Не то.

— Мы берём словом. Этот копьём.

— За один день он окрестил больше, чем мы уговаривали целый век.

— И это хорошо?

— Это быстро. А хорошо ли — разговор особый.

Внизу тем временем шла своя жизнь. Мальчишки торговали с лотка печёной репой и торговались бойко, пользуясь тем, что вылезавшие из реки брали не глядя и не считая сдачи. Собака носилась вдоль берега и лаяла на всех сразу. Один дружинник сидел на камне и чинил ремень, на реку не оборачиваясь, — он своё за это утро уже отслужил.

А вдоль сложенной кучками одежды прохаживался человек в добротном кожухе, наклонялся, перебирал и кое-что отправлял за пазуху. Он даже не таился, — хозяева стояли в воде и были заняты спасением души, до кожуха ли им.

Женщина с ребёнком на руках вошла в воду и остановилась. Вода стояла ей по пояс, ребёнок зашёлся криком, а она прижала его к себе и дальше не двинулась.

— Глубже! — крикнули с берега.

Она пошла глубже. Вода дошла ей до шеи, ребёнок кричал, и тут я не выдержала.

* * *

Вода оказалась такая, что перехватило дыхание и потемнело в глазах.

Я подошла, приняла у неё ребёнка и подняла над водой. Он замолчал почти сразу — руки у меня были тёплые, а больше ему ничего и не требовалось.

— Ты кто? — спросила женщина.

— Никто. Подержу.

Так мы и стояли, пока священник дочитывал, пока князь кивал с берега, пока пересчитывали головы. Ног я под конец не чувствовала, зубы выбивали дробь, а ребёнок был тёплый и живой, и это одно меня в той воде и держало.

На берегу своей кучки она не нашла. Стояла мокрая, с ребёнком на руках, и озиралась по чужим ворохам, а поодаль уже уходил тот самый, в кожухе, уходил скоро и по-деловому.

Я отдала ей свой платок — большой, шерстяной, купленный в Царьграде и, не стану скрывать, любимый. Она замотала ребёнка и меня не поблагодарила — ей было не до того, а мне и не за что.

Платок я потом видела на ней ещё дважды, в разные годы, и оба раза она меня не узнала.

* * *

Вечером у костра Гершон принёс мне каши — ячменной, густой, дымящейся.

Я ела, обжигала язык и думала, что вкуснее не ела давно.

— Зачем полезла?

— Ребёнок кричал.

— Их там кричали тысячи.

— Этот кричал рядом.

Он посмотрел на меня внимательно, как смотрят на вещь, в которой вдруг обнаружилось лишнее, никем не заказанное свойство.

— Ты понимаешь, что всех не вытащишь?

— Понимаю.

— И что дело наше не вытаскивать, а направлять?

— Понимаю. — Я доела и попросила ещё. Он дал. Я съела и попросила снова, и вот тут он засмеялся, впервые за весь тот тяжёлый день.

— Кормить будешь, — сказал он. — Всех подряд, без разбору.

— Буду.

— В наши обязанности это не входит.

— В мои входит.

С тех пор и кормлю.

Владимир загнал народ в воду копьями, а я вошла сама и держала на руках чужого ребёнка. На чьих руках он замолчал, я знаю точно, и на этом всё моё богословие заканчивается.

А спросят, во что я верю, — отвечаю: в кашу. Миша всякий раз смеётся, а я не шучу.

Чума

Лео. 1347 год. Авиньон.

Осенью пошли слухи, что на востоке вымирают целые города, что зараза идёт по торговым путям и что она уже в Италии, уже в Марселе.

Слухи в четырнадцатом веке двигались медленнее болезни. Пока до нас дошёл слух, с ним заодно дошла и она.

Жил я тогда в Авиньоне, при папской библиотеке, переписчиком. Сидел в скриптории, макал перо, выводил буквы — латынь, греческий, изредка иврит, — работа тихая и без лишних людей, а живым соседям я к тому времени давно предпочитал мёртвых авторов — эти хоть не шумят.

Работал со мной послушник Гийом, лет шестнадцати, взятый в скрипторий за то, что умел читать, и оставленный там вопреки почерку. Почерк у него был хуже некуда — буквы валялись вправо, он их подпирал, и строка шла волной, как забор у пьяного плотника. Я учил его держать перо положе и не давить. Он соглашался, кивал и давил по-прежнему.

Первые заболевшие объявились в октябре. К ноябрю их считали сотнями, к декабрю тысячами, к январю мёртвых стало больше, чем живых, и библиотека закрылась сама собой — монахи перемерли, переписчики следом, а за ними и крысы, с которых, как выяснится шесть веков спустя, вся история и завелась.

Гийом не пришёл девятнадцатого декабря, и заметил я это не сразу, — в тот день не пришёл никто. Лист его так и остался на пюпитре, прижатый костяным ножом, — половина страницы, и последняя строка идёт волной, как у него всегда.

Лист я потом увёз с собой. Он и теперь в архиве, во втором ящике, и я помню его наизусть, хотя ничего особенного там нет, — тем и помню.

Дописывать за мальчишку я не стал. Так и лежит недописанный, с волной в последней строке.

Сам я не слёг. Отчего — тогда ещё не знал и решил, что берегут молитвы. Молился, постился, благодарил. Помогало исправно и мне одному.

* * *

В феврале я вышел на улицу и увидел город, от которого остался один камень.

Двери стояли настежь — хозяева ушли, кто помер, кто сбежал, хотя от этой болезни не сбежишь, она едет верхом рядом с тобой. На площади жгли тех, кого не успевали закапывать, — земля промёрзла, копать некому и нечем. Запах я запомнил на все века вперёд — сладковатый, густой, липнувший к волосам и к шерсти, и по сей день, когда рядом жгут костёр, я на миг цепенею, пока не соображу, что это всего лишь ветки.

Тогда же вышло со мной то, чего я после не сумел отменить.

До чумы я, как всякий переписчик, потихоньку вписывал своё — на полях, мелко, между строк, — тут не согласен, тут автор врёт, тут я сказал бы иначе. За годы этих помет набрался целый ворох, отдельная стопка листов, которую я держал под замком. В феврале я её достал, перечитал и сжёг, — рядом с тем, что творилось на площади, всё моё написанное оказалось не то чтобы глупо, а попросту невесомо. Чужие строки вес держали. Мои — нет.

С той поры я говорю чужими словами, и оправдание у меня всегда под рукой, — чужое, мол, точнее, глубже и вообще сказано лучше. Оправдание приличное. А правда попроще — за чужое не отвечаешь.

Весной болезнь отступила — не совсем, накатывала ещё волнами, но жить стало можно. Выжившие вылезли, огляделись и принялись жить дальше — хоронили, латали крыши, пахали, рожали, забывали. Люди умеют забывать, тем и держатся. Я не умею, и в этом вся моя беда.

* * *

В библиотеке меня и разыскал Гершон.

Вошёл без стука, как входят туда, где стучать больше некому. Маленький, сухой, уже тогда старый с виду. Пахло от него дорогой и полыньёю — после я узнал, что полынь он жуёт от зубной боли, хотя зубы у него, сколько его помню, не болели ни разу.

— Что ищешь?

— Ответ.

— На какой вопрос?

— На любой.

— Ответов нет. — Он сел напротив и обвёл глазами стеллажи, уходящие в темноту. — Есть вопросы. Хочешь искать вместе?

Ищу с тех пор. Ответов не нашёл, зато вопросы стали лучше, и это, пожалуй, всё, на что тут можно всерьёз рассчитывать.

* * *

Уехали мы той же весной на восток, где было тихо, много леса и где мора ещё не было. Он и туда добрался, разумеется, но позже и помягче.

Место сыскали под Москвой — монастырёк на отшибе, семеро монахов, земли вдоволь и никаких вопросов. Настоятель спросил только, надолго ли, и, услышав «надолго», кивнул с явным облегчением, — руки ему нужны были на покос. Наверху дерево, внизу камень — подвал глубокий, сухой, стены в два локтя.

— Здесь будет архив, — сказал Гершон, оглядывая его, как оглядывают дом, в котором собрались прожить дольше, чем простоят его стены.

В тот же день я полез вниз прикинуть, куда ставить книги, и на третьей ступеньке нога поехала. Камень качнулся, раствор из-под него высыпался струйкой, и я поймался за стену.

— Надо починить.

— Не сейчас, — сказал Гершон. — Сейчас мор.

Крыть было нечем — Европа в трупях, а я про камень. Через год, когда отпустило, я спросил снова. Он ответил: сейчас восстановление. Через десять лет — сейчас война. Через сто — сейчас Возрождение, недосуг.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.